

Борис Кержанцев

# ОКЛЮЧНОСТЬ ЕРУДАЯ

Россия в XVII–XVIII веках



ОТ РУСИ К ИМПЕРИИ

Борис Керженцев

## ОКАЯННОЕ ВРЕМЯ

Россия в XVII—XVIII веках

### ЧАСТЬ I

#### «ЗИМА ЕРЕТИЧЕСКАЯ ХОЩЕТ БЫТИ»

### ГЛАВА 1

Семнадцатое столетие — одно из самых «долгих» в истории народов, населяющих европейский континент. Его начало было всего лишь хронологическим фактом григорианского календаря, а его конец — ознаменовал собой рождение новой эры. В течение ста лет произошла принципиальная перемена всего, что составляло мировоззрение и наполняло жизнь людей прежних эпох.

Для России семнадцатый век, особенно его вторая половина, стал временем трагического духовного и социального перелома, оказавшегося тем более болезненным, что он не имел под собой никаких объективных предпосылок в прошлом страны. Преобразования, разрушившие естественное развитие русской государственности, были внедрены в относительно короткие сроки и сопровождались революционным ниспровержением всех традиционных основ общества.

В исторической науке и публицистике проводившиеся в России в XVII и первой половине XVIII века реформы принято представлять как возвращение страны в русло «общеевропейской цивилизации». Поэтому прежде, чем касаться существа произведенных перемен в России, необходимо хотя бы коротко рассмотреть ту трансформацию, которую пережили к этому времени государства Европы.

Начало столетия, казалось, не принесло с собой ничего нового. Религиозные вопросы и конфликты по-прежнему оставались главными во внутренней жизни европейцев, предопределяя поступки людей и внешнюю политику государств. Первое десятилетие наступившего века было отмечено агрессией католической Польши против православной Руси. Современников в этом столкновении не могли ввести в заблуждение территориальные и политические противоречия, сопутствовавшие вторжению. Обеими сторонами интервенция воспринималась в первую очередь как духовное противостояние разных ветвей христианства — западного и восточного. Это был крестовый поход Запада против православного Востока, в котором польский король и шляхта всего лишь выполняли роль наконечника копья.

В то же время на самом Западе христиане продолжали яростно сражаться друг с другом, отстаивая идеалы Реформации и Контрреформации. Эта борьба, как и в XVI столетии, была

отмечена мрачной непримиримостью, доходящей до полного взаимоистребления. События Тридцатилетней войны затмили кровавые расправы Варфоломеевской ночи и зверства солдат Филиппа Испанского в Нидерландах. После этой войны стояли выжженными и опустевшими целые города.

Девиз герцога Альбы: «Бесконечно лучше сохранить для Бога и короля государство обедневшее и даже разоренное, чем видеть его в цветущем состоянии для сатаны и его пособников-еретиков» оставался практическим руководством к действию и в XVIII веке. Преследование инаковерующих велось по всей Европе. В Моравии некатоликам запрещалось заниматься ремеслами. Их было запрещено даже хоронить на кладбищах, а упорствовавших в вере лишали собственности и выселяли из страны. То же самое происходило в Чехии и Баварии, Силезии, Пфальце, а также в других областях. Во Франции эпоха борьбы с гугенотами продолжилась в 1629 году штурмом крепости Ля-Рошель, сопровождавшимся жестокой резней защитников, а закончилась в 1685 году отменой Людовиком XIV примирительного «Нантского эдикта» и, как следствие — массовой эмиграцией протестантов из страны.

Нетерпимость вела к значительным социальным, нравственным и экономическим потерям. Ко времени заключения Вестфальского мира численность населения некоторых областей Европы сократилась в несколько раз. Так, в Чехии к 1650 году оставалось только 700 тысяч жителей из 2,5 миллиона, обитавших в ней в 1618 году{1}. Из Франции от преследований правительства за веру бежали самые активные и предпримчивые граждане — богатые промышленники, увозя с собой свои капиталы, опытные офицеры, искусные ремесленники.

Однако все это не мешало неуклонному усилинию европейской экспансии практически по всем географическим направлениям. Почти не было такого уголка земли, на который не ступила бы нога испанского, английского, французского, голландского или португальского моряка. Примечательно, что их появление, на первых порах встречаемое, как правило, с радушием и гостеприимством, очень скоро вызывало в местном населении ненависть и открытую вражду. Это объяснялось тем, что европейцы, несмотря на разницу своего происхождения из той или другой страны и вероисповедания, вели себя с туземцами совершенно одинаково. Они приходили как купцы и заводили с местными жителями выгодную торговлю.

Но мирная торговая фактория быстро и незаметно превращалась в укрепленный военный форт, контролировавший всю окрестную территорию. Туземное правительство смещалось или ставилось под контроль пришельцев и начинался безудержный грабеж страны.

Вне зависимости от того, двигал ли пришлыми чужеземцами миссионерский пыл или купеческая жажда наживы — их деятельность в одинаковой степени приводила к разрушению традиционных основ местных обществ, унижению или уничтожению их культуры и верований, порабощению или поголовному истреблению населения, ставила местную цивилизацию, иногда насчитывавшую многие века, если не тысячи лет своей истории, на грань окончательной гибели.

Массовый ввоз черных невольников сопутствовал поселению англичан в Северной Америке. Еще в 1619 году голландцы продали пионерам Вирджинии первую партию рабов. Нередко это объясняется крайней нуждой первопоселенцев в рабочих руках для возделывания табачных плантаций. Но не следует забывать, что во многом эти трудности на новой земле у колонизаторов возникли из-за того, что за короткое время своего пребывания в Америке они успели вырезать или прогнать индейские племена, встретившие их как друзей и готовые оказать им помощь. Но англичанам были нужны рабы, а не друзья.

В государствах Индокитайского полуострова, как прежде в Новом Свете в Америке, испанские и португальские авантюристы пытались выкроить собственные королевства, а если это не

удавалось, устраивали разбойничьи крепости-гавани для занятия пиратством и работорговлей.

Классическим примером такой деятельности может служить правление Филиппа де Бриту, захватившего порт Сириам в Южной Бирме и объявившего себя королем. Доведенные до полного отчаяния «подданные» его королевства, которым эпоха господства европейцев запомнилась как самая мрачная страница истории страны, в союзе с соседними племенами свергли власть чужеземцев. Во второй половине семнадцатого столетия наместник могольского правителя в Бенгалии с трудом сумел прогнать обосновавшихся в дельте Ганга португальских пиратов и работорговцев. Жители Молуккских островов в Индонезии выдержали три опустошительных войны с голландцами, но потерпели поражение. Пришельцам оказывали вооруженное сопротивление повсеместно, где только имели к этому возможности — в Маниле и Аракане, Индии, на Филиппинах и Суматре.

Еще более красноречиво отношение к европейцам в тех государствах, которые не вели с ними открытых военных действий и даже имели некоторое время разносторонние культурные и торговые контакты. Именно после близкого знакомства с характером западных гостей, их обычаями и повадками во многих восточных странах происходит неожиданная реакция — полный и жесткий запрет въезда на свои территории для европейцев. В 1637—1638 годах сегуны Токугава прекратили торговлю с европейцами и запретили их судам заходить в японские порты. Исключение было сделано для ограниченного числа голландских купцов, которым разрешалось посещать только гавань острова Нагасаки, и то под неослабным контролем властей.

Китайское правительство династии Мин после непродолжительных контактов с англичанами и голландцами в XVII веке закрыло гавани страны для европейцев. Исключение и здесь было сделано лишь для одного порта — Гуанчжоу, где западные купцы могли производить торговлю только с представителями одного купеческого объединения «Кохонг» также под жестким контролем правительственный чиновников, и не иметь никаких контактов с населением<sup>{2}</sup>. Подобные распоряжения, ограничивавшие или вовсе воспрещавшие европейцам посещение государственной территории, были даны в XVI—XVIII веках правительствами Кореи, Сиама, Бирмы, Вьетнама...

Эти запреты подтверждают, что влияние европейцев было признано вредным, оказывающим опасное и разрушительное воздействие на культуру и нравственность населения тех стран, куда оно проникало. Но для того, чтобы понять, какие именно опасности видели в представителях Запада на Востоке, необходимо попытаться объективно посмотреть на то, что же представляла собой в духовном смысле западная цивилизация семнадцатого столетия.

По образному выражению П. Шоню, именно в XVII веке «гуманитарное слово «Европа» вступает в неравную схватку с понятием «христианский мир»<sup>{3}</sup>. И не просто вступает, но — выигрывает ее. На самом деле происходит не только смена наименований, но гораздо более серьезное изменение — настоящая революция в системе мировоззрения европейцев. Во взаимоотношениях европейских государств все определенное политические расчеты, территориальные и экономические интересы преобладают над вероисповедными вопросами<sup>[1]</sup>. Во внутренней политике происходит то же самое, и принадлежность к официально признанной в стране конфессии требуется лишь потому, что служит доказательством лояльного отношения к правительству. Христианское учение теряет прежнюю роль единственного нравственного ориентира, а спасение души перестает быть смыслом жизни для все большего числа европейцев.

Без всякого сомнения, переменам в сознании европейцев способствовали научные успехи и начавшийся технический прогресс, расширявшие представления о мироздании и человеке, упрощавшие освоение мира и все шире раздвигавшие его границы. Достигнутые результаты

подстегивали дальнейшее развитие, одних манили новыми возможностями, увеличивали жажду познания, у других дразнили честолюбие, третьим открывали новые пути для обогащения.

Но все-таки эта картина не может вполне объяснить те изменения, которые произошли с христианским миром Запада в эпоху Нового времени. Ведь астрологические открытия делали еще мудрецы и астрономы древности, дальние плавания и географические открытия совершались в античности и Средневековье без помощи астролябии, а прежних технических знаний было достаточно для строительства величественных соборов и неприступных крепостей. Наконец, история знает множество примеров стран и обществ, которые, пережив технический прогресс и усвоив множество его достижений, сохранили глубокую религиозность и не изменили традиционному пути развития, не порвали резко и бесповоротно с мировоззрением предков.

История Европы складывалась по-другому. В отличие от консервативных восточных обществ, европейцы отчаянно ломали и перестраивали социальные и духовные устои своего мира. Это привело к странному результату — неустанные поиски справедливого устройства общества закончились небывалым развитием колониального рабства, а стремление к благочестию и кровопролитные войны за «истинную веру» — торжеством рационализма и в конечном счете совершенной секуляризацией сознания.

Так случилось потому, что сам научно-технический прогресс, а также трансформация социального, экономического и политического устройства западного мира были лишь следствием другого, более раннего и масштабного явления.

Гуманистическая революция эпохи Возрождения разрушила прежние христианские основания европейской цивилизации и построила на их месте новые. Это было движение не просто антихристианское по своему существу, но еще шире — антирелигиозное. Главное различие состояло в отношении к смыслу жизни и к месту человека в ней. Средневековому сознанию, сосредоточенному на отрешении от земных страстей и выраженному Блаженным Августином, учившим своих последователей: «Настоящая жизнь ваша есть сон, и богатства эти как бы во сне протекают». Апостол Павел убеждает достигать вечной жизни» люди нового склада противопоставили активное утверждение прав и интересов плоти.

Этот конфликт остро и чутко ощутил Петrarка, основатель философии гуманизма, и передал его в одном из лучших и, без сомнения, интереснейших своих произведений. Оно неслучайно озаглавлено так же, как и проповедь Блаженного Августина — «О презрении к миру». Потому что сочинение Петrarки есть спор с мировоззрением блаженного отца Церкви. Но, что важнее и красноречивее всего, этот диалог — в первую очередь спор автора с самим собой, а вместе с ним и выражение душевных терзаний многих его современников, очарованных наступлением новой морали и не имевших сил бороться с искушением. Петrarка признается в своей духовной слабости: «Когда, поднимаясь по прямой тропинке, я дошел, скромный и рассудительный, до распутья двух дорог и мне было приказано идти по правой дороге, — тогда, из неосторожности или упрямства, я свернул на левую... С тех пор как меня потянуло на кривой и нечистый путь, я часто со слезами оборачивался назад, но уже не мог идти правой дорогою; и вот, когда я ее покинул, тогда-то, несомненно, воцарилась эта неурядица в моих нравах...»

В диалоге два участника, Августин и Франциск, третье лицо — Истина, наблюдает за их беседой, не принимая участия в споре. Августин умоляет собеседника одуматься и обратиться на путь покаяния, отринуть попечение о земном. Он тщетно напоминает Франциску (Франческо — имя Петrarки) о страхе Божием: «О слепец! Ты все еще не понимаешь, какое безумие — подчинять душу земным вещам, которые воспламеняют ее огнем желаний, не способны ее успокоить, не могут быть верны ей до конца и, обещая ее приголубить, вместо того терзают ее непрерывными потрясениями... Помнишь ли, как силен

был в тебе страх Божий, как много размышлял ты о смерти, как сильно был привязан к вере и как любил добродетель?»

Франциск сокрушенно восклицает в ответ: «Разумеется, помню и скорблю о том, что с годами добродетели умалились во мне...»

Тогда Августин, не жалея для собеседника бранных имен, называя его и «жалким» и «глупейшим человечком», вновь предостерегает его: «Раз ты не жаждешь бессмертного, раз не помнишь о вечном, — ты весь земной, твоё дело проиграно, надежды нет больше!..».

Франциск отвечает с достоинством и как человек, принявший тяжелое решение. Он сделал выбор и спешит закончить тягостный разговор: «Мне свидетель мой дух, знающий все мои заботы, что я всегда пытал любовью к вечности... Я постараюсь изо всех сил оставаться при себе, соберу разбросанные обломки моей души и усиленно сосредоточусь в себе. Правда, теперь, пока мы говорим, меня ждут многие важные, хотя все еще земные дела».

Диалог Петrarки «О презрении к миру» — это «Фауст» наоборот. Здесь святой стремится удержать своего друга и ученика на пороге душевной гибели, умоляет не поддаваться соблазнам мира и страшит его трагическими последствиями за измену благочестию. Но его несчастный собеседник непреклонен: «Я хорошо знаю, что для меня было бы гораздо надежнее... оставив в стороне кривые пути, избрать прямой путь спасения, но не могу обуздать своего желания...»

В действительности, с точки зрения современного человека, Франциск, герой Петrarки, вовсе не задумал чего-то страшного или греховного. Он «всего-навсего» отстаивает право человека о попечении не только о душевном, что чрезвычайно важно, и с чем он совершенно не спорит, но и о земном, преходящем. Он и не думает о плотских грехах, он далек от мысли отстаивать порок — ничего подобного ему и в голову не приходит. Он просто возвращает попечение о нуждах человеческой плоти — в систему человеческих ценностей, откуда оно было изгнано христианской ортодоксией.

Любопытнее всего отношение Петrarки к своему *alter ego*. Он, кажется, целиком на его стороне, его позиция — это позиция самого поэта. Франциск если не побеждает в споре с Августином, то все-таки отстаивает свое мнение и уходит с гордо поднятой головой. Но его дорога — это драматический путь духовно падшего человека. Незаметно для себя он уже приобщился самой малой части соблазнов этого мира, отдал перевес земному над вечным в своей душе. И с удивительной чуткостью, несомненным признаком гениальности Петrarка передает это ощущение духовной потери, трагическое предчувствие дальнейшей неостановимой нравственной деградации.

«Кривые пути» эпохи гуманизма привели христианскую цивилизацию Запада не только к «неурядице» во нравах, но к совершенному и необратимому обмирщению культуры.

Штампом, общим местом почти всех без исключения работ по истории искусства является восторженное утверждение о том, что главной заслугой деятелей Возрождения стало освобождение человеческой личности от средневековых уз<sup>{4}</sup>. При этом каких только презрительных и враждебных отзывов не раздастся в адрес «средневекового мировоззрения», а по сути — христианского учения, которое якобы «веками принижало и притесняло самосознание человека»<sup>{5}</sup>. Но академическое жизнеописание выдающихся деятелей гуманизма, к сожалению, редко сопровождается объективным описанием того, какой переворот произвела их философия в практической жизни людей.

Примером перемен в общественной морали может служить одна из новелл современника Петrarки, Боккаччо, автора знаменитого «Декамерона». Взяв за основу средневековое предание о женщине, одержимой греховной страстью к любовнику, убившей мужа и за то осужденной на вечные муки в аду, Боккаччо предлагает своим читателям этот сюжет как бы

вывернутым наизнанку. В его рассказе дама из благочестивых соображений не смеет нарушить супружеской верности, что приводит влюбленного в нее рыцаря к самоубийству. И вот за эту «жестокость» и нежелание раскаяться в ней дама обречена, но мысли Боккаччо, адским страданиям. Смысл истории в том, чтобы предостеречь прекрасных дам от излишнего целомудрия и заставить быть благосклоннее к ухаживаниям влюбленных в них кавалеров.

По замечанию А. К. Дживелегова, подобный взгляд «уже не просто реабилитация плоти; это панегирик се, призыв к любви, переворачивающий вверх дном все прежние взгляды на грех»{6}.

В этом нравственном перевороте заключено главное значение эпохи гуманизма, ее суть. Люди грешили и раньше, но общепризнанной нормой поведения являлось всегда его соответствие с христианским пониманием добра и зла. Учение Церкви было тем стержнем, вокруг которого формировалась общественная мораль, и одновременно прямым руководством к действию в повседневной жизни. Так называемое «ренессансное сознание», человекоцентристское, антиклерикальное и антирелигиозное, освобожденное от «церковных уз», сделало чрезвычайно расплывчатыми границы допустимого и запретного.

Ориентация на древнегреческие и древнеримские образцы в культуре и философии, которую выбрали для себя деятели Возрождения, обернулась во многом неразборчивым подражательством и не менее отчаянным ниспровержением всего тысячелетнего опыта христианской культуры. В результате, по признанию даже такого далекого от церковной ортодоксии исследователя, как Б. Расселл, следствием «освобождения людей от церкви явилась не способность мыслить рационально, а их готовность принять любой античный вздор. Столь же гибельным был и первый результат освобождения в нравственном отношении. Старые правила морали утратили всякое уважение...»{7}

XV и XVI века стали временем полного падения нравов. Дворы христианских правителей представляли собой гнезда самого настоящего разврата. Достаточно прочитать сочинение аббата Брантома, чтобы составить представление об эпохе Екатерины Медичи, Карла IX и Маргариты Наваррской. Порочность Генриха III Валуа шокировала даже современников, но от правления к правлению свобода нравов только увеличивалась. Так что в начале семнадцатого столетия иностранный дипломат сообщал из Парижа об окружении короля Генриха IV: «Я никогда не видел ничего более похожего на бордель, чем этот двор»{8}.

Развращенность была всеобщей, хотя и проявлялась в разной степени, в зависимости от страны, темперамента правителя и прочих особенностей. При дворе таких «благочестивых» правителей, как Филип II Испанский и Елизавета II Английская, дворяне не переодевались в женское платье, как во Франции, не устраивались оргии в духе времен Нерона и Калигулы. Но распространенные и там внебрачные связи, фаворитизм и наличие незаконнорожденных детей нисколько не вредили в глазах современников благочестивому образу королей и вельмож.

Другой важной чертой европейского общества постренессансной поры было падение нравов в среде католического священства. Причем в рядах высшей иерархии развращенность достигала совершенно невообразимых размеров. Остается только удивляться, как скучны историки культуры, взахлеб повествующие о папах римских — покровителях искусств, на правдивое описание настоящего облика этих людей.

Состояние тяжелого нравственного упадка, в котором оказалось священноначалие, красноречиво характеризует признание церковного историка, католического священника Й. Лортца: «Можно радоваться только тому, что среди тогдашних служителей Церкви все еще попадались симпатичные и добросовестные люди, хотя бы в виде исключений, подтверждающих общее неутешительное правило». Описывая положение западной церкви, Лортц употребляет еще более резкое определение — распад! Торжество идей гуманизма

привело к тому, что Италия и сам папский двор стали настоящим рассадником порока по всей Европе.

Власть и образ жизни римских епископов были тяжким испытанием для людей, остававшихся верными преданиям Церкви. Надежды на исправление положения почти не было, потому что каждый новый папа оказывался еще хуже и развратнее предыдущего. После смерти Сикста IV жители Рима писали на стенах своих домов: «Радуйся, Нерон, даже тебя в порочности превзошел Сикст!» Александр VI вошел в историю как «чудовище разврата», а про папу Иннокентия VIII говорили, что он настоящий «папа», поскольку множество юных жителей города являются его внебрачными детьми, и он продолжает заселять ими улицы Вечного города...

Не было такого преступления, которое не совершалось бы под покровительством и при прямом участии римских пап. Борьба за власть, жажда наживы вела к совершению жестоких убийств, открытому грабежу, притеснению слабых. Открыто разорялись и истреблялись целые семейства с тем, чтобы их достояние передать родственникам римского первосвященника, его законным и незаконорожденным детям. На деньги, собранные с богообязненных крестьян по всей Европе, католические храмы украшались статуями языческих богов. Папы-меценаты, с помощью яда и кинжала уничтожавшие конкурентов и присваивавшие себе их поместья и доходы, окружали себя поэтами, комедиантами, куртизанками...

У Мартина Лютера, посетившего Рим в начале XVI века, были причины, чтобы воскликнуть в удивлении и благочестивом ужасе от увиденного: «Пороки здесь невероятны! Это самые нечестивые люди на свете...» В самом Риме не сразу оценили степень угрозы, исходящую для папства от немецких поборников очищения веры. «Монашеская склока!» — так пренебрежительно отзывался на гневную проповедь Лютера папа Лев X, достойный сын знаменитого Лоренцо Медичи.

Реформация была неизбежной реакцией на состояние нравственного распада католической церкви. Она открыла дорогу для настоящего возрождения религиозного чувства в людях, уставших от лицемерия и цинизма папского Рима. В учении протестантизма Европа,казалось, обретает второе крещение — во всех странах появились и скоро превратились в заметную силу тысячи, сотни тысяч и, наконец, миллионы верующих, для которых христианство — стало вновь делом личного выбора, вопросом спасения души, а не формального исполнения докучливых и лишенных практического смысла обязанностей перед священником и епископом.

За учение Христа или, по крайней мере, за то, как они его понимали, эти новые христиане были готовы идти на костер, их не страшили ни пытки, ни казни. И единственное, что двигало ими — была искренняя вера. Она вдохновляла французских аристократов-гугенотов, голландских буржуа и немецких крестьян на борьбу с окружающим миром греха и порока — новым «кровавым Вавилоном».

Но движение ранней Реформации, начавшееся столь ярко, было последней вспышкой религиозного воодушевления, которое еще сохранялось в людях христианского Запада.

В действительности протестантская этика вступила в конфликт не с католицизмом, а с гуманистическим секуляризованным мировоззрением, давно подчинившим себе так называемый католический мир. Результатом этого противостояния стало образование новой европейской цивилизации. В ней не осталось места уже не только духовной аскезе, но и сами гуманистические идеалы Ренессанса претерпели значительную трансформацию.

В XVII веке происходит формирование такой системы социальных отношений и экономического уклада, при которых уменьшается значение человеческой личности вообще.

Абсолютизм, укрепившийся во многих ведущих европейских странах, стремится контролировать человека, подчиняя его интересы интересам государства, ограничивая частную и даже имущественную свободу. Одновременно с этим начало капитализма несет с собой дальнейшие серьезные перемены не только в экономическом, сколько в духовном развитии Европы.

Раньше купец, торговец и ремесленник смотрели на свою профессию, как на источник дохода для обеспечения себя и членов семьи необходимыми для жизни средствами. Доход мог быть совсем небольшим, а мог и значительно увеличиваться, но в целом его предназначение определялось житейскими нуждами. Кроме того, во многом аппетиты деловых людей ограничивались естественными рамками и условиями, в которых существовал средневековый рынок товаров и услуг.

Отличие предпринимателя капиталиста от своих коллег прежнего времени состояло в том, что целью его деятельности был уже не просто доход для удовлетворения определенных потребностей, а прибыль ради прибыли, в идеале бесконечно воспроизводящая сама себя. И для достижения этой задачи к его услугам появились новые средства, в первую очередь — развитие банковского дела в современном значении слова, с возможностью безналичных расчетов за покупку и продажу крупных партий товара. Начиналась эпоха «банковских денег», оторванных от их реальной стоимости, с неизбежной инфляцией и простирающимися отсюда последствиями, эпоха спекуляций и сверхприбылей. Развитие технического прогресса и расширение связей между странами ускоряли процесс втягивания в новые экономические отношения все народы континента и за его пределами.

Главным следствием этого, по замечанию В. Зомбарта, было то, что «живой человек с его счастьем и горем, с его потребностями и требованиями был вытеснен из центра круга интересов, и место его заняли две абстракции: нажива и дело»{9}.

Однако здесь пионеры капиталистической экономики столкнулись с неожиданным препятствием. Подобно купцам прежнего времени, покупатели докапиталистической эпохи руководствовались в приобретении товара житейской необходимостью, а значительную часть продукции пытались производить сами. Понятно, что такой подход чрезвычайно ограничивает возможности предпринимателя-торговца или фабриканта. Успешная погоня за прибылью предполагает постоянное стимулирование спроса и наращивание оборота. И с этого времени берет начало неуклонное раздражение потребительского спроса, выстраивание системы, при которой покупателя заставляют всевозможными способами приобретать такие товары и в таком количестве, которое не соответствует и даже входит в противоречие с действительными потребностями.

Так менялся христианский мир, утрачивая последние следы религиозного мироощущения и превращаясь в мир «европейский», содержанием которого стали рационализм мышления и материализм в культуре, где главное место заняли погоня за роскошью и удовольствиями жизни. Символом эпохи испортавшихся нравов стало явление, именуемое Barocco[2].

Именно здесь, в этом новом искусстве, с наибольшей отчетливостью предстает духовное перерождение западной цивилизации. Материальный, «мирской» характер новой культуры воинствующе антирелигиозен. Все в ней, в архитектуре, музыке, живописи, утверждает торжество плотского земного начала. С легкой руки людей, обыкновенно пишущих искусствоведческие исследования и, как правило, чрезвычайно далеких от церкви, принято восхищаться гениальностью творений художников Возрождения и Нового времени. Вместе с тем, с точки зрения традиционной христианской морали, их произведения не столько удивляют мастерством исполнения, сколько шокируют непристойностью своего содержания.

Невозможно отрицать, что откровенное изображение обнаженной натуры, бесчисленные «вирсавии», греческие богини и вакханки, сатиры и нимфы, бесстыдные оргии — эти сюжеты,

бесконечно повторяющиеся и неустанно возобновляемые, способствовали в первую очередь не развитию чувства прекрасного в душах зрителей, а воспитывали вкус к разврату и распущенности.

Примечательно, что и здесь, в области искусства, как и в тенденциях политического и экономического развития, проявляется удивительное сходство среди европейских стран, которому не мешают остающиеся между ними формальные вероисповедные различия. Ярким примером может служить живопись двух школ — северной и южной Голландии, представителями которых выступали, соответственно, такие известные мастера, как Рембрандт и Рубенс.

Южная часть страны — Фландрис, находилась в свое время под значительным влиянием Испании и католицизма, а северная, собственно Голландия с центром в городе Амстердаме, была оплотом протестантизма, причем в одном из его наиболее непримиримых проявлений — кальвинизме. Искусствоведы могут сколько угодно описывать различия в технике двух выдающихся художников, обусловленные культурными особенностями среды. Но достаточно сравнить картины мастеров, например, «Вирсавия у фонтана» Рубенса и «Вирсавия в ванной» Рембрандта, чтобы понять, что их объединяет значительно большее, чем разъединяет. Они исповедуют одну философию — прославление плоти.

Даже в самой Испании, под жестким контролем инквизиции, почти в одно время с «гениальными голландцами» Веласкес пишет свою вызывающе откровенную картину «Венера с зеркалом», в которой воплотились его впечатления от путешествия по Италии и воспоминания об оставленной там возлюбленной.

Каким же образом стали возможны эти перемены в христианской культуре европейцев? И если творчество итальянских художников можно объяснить влиянием идей Ренессанса, то как могло так скоро ослабнуть напряженное религиозное чувство в мастерах из протестантских стран? Как случилось, что застегнутые в черные камзолы кальвины и пуритане, запрещавшие публичное веселье в Женеве и театральные представления в Лондоне, посвятившие свою жизнь молитве и борьбе с окружающим миром греха, вдруг стали покровителями искусства, прославлявшего соблазны?

Причина в тех принципах, на которых было основано движение Реформации. Провозглашение безграничной духовной независимости личности, право свободного толкования основ веры, за очищение которой началась борьба, неизбежно привело к эманципации личности вообще, в повседневной жизни и культуре. Так приверженность кальвинизма духовной свободе трансформировалось в духовную анархию, и в результате именно это аскетичное движение за возрождение благочестия проложило дорогу для процветания свободного искусства, низвергнувшего всякие следы религиозности.

Для того, чтобы представить себе, как далеко в сторону от прежних путей развития ушла европейская цивилизация, какая глубокая пропасть пролегла между ней и прочими цивилизациями, оставшимися в традиционном русле своей культуры, в первую очередь восточноправославной, нужно просто посмотреть на работы любого из европейских художников и обратить внимание на даты их создания: «Туалет Вирсавии» (1594) Корнелисса Корнелиссена, «Адам и Ева» (ок. 1531) Ханса Бальдунга, «Спящая Венера» (1510) Джорджоне, «Рождение Венеры» (1480) Боттичелли, картины Рафаэля, Мазаччио, Беллинини... Совершенно очевидно, что появление чего бы то ни было даже отдаленно близкого этим работам, будь то дерзко обнаженная женщина или реалистично выписанный портрет современника, совершенно невозможно в православной Москве XV, XVI и первой половины XVII веков. И дело здесь не в «недосягаемости» мастерства европейских живописцев, а в принципиальной несовместимости их творчества с православной культурой. Особенностью этих работ является отсутствие в сердцах их авторов религиозного смирения, «страха Божия», лежащего в основе христианского мировоззрения.

Но как раз в то время, когда в Европе утверждается новый тип культуры, ее связи с Россией и влияние на Россию становятся все более тесными и значительными.

## ГЛАВА 2

Английский посол Джильс Флетчер, посетивший Москву в последней четверти XVI столетия, составил для себя такое представление о русских: «Что касается до их свойств и образа жизни, то они обладают хорошими умственными способностями, не имея, однако, тех средств, какие есть у других народов для развития их дарований воспитанием и наукой». И это очень характерный взгляд для европейца на московское общество дореформенной поры. Его отличает только от многих других подобных сочинений несколько большая степень доброжелательности. Обычно авторы неизменно упрекают русских людей в отсутствии у них наук и образованности в том виде, какой они приобрели на Западе.

Вообще в описаниях иноземцев русские и их государство предстают в самых мрачных образах. Так что если бы кто-нибудь задался целью доказать, что Московское государство и его обитатели XVI—XVII веков были воплощением зла и невежества, и для доказательства решил опереться на свидетельства современников-европейцев, выполнение такой задачи было бы самым легким делом. Для этого достаточно открыть почти любое из иностранных сочинений о России наугад.

«Русский народ... совершенно предан невежеству, не имеет никакой образованности ни в гражданских, ни в церковных дела. И видя в науках чудовище, боится их как огня», — писал англичанин Самуэль Коллинс. «Я не мог заметить в москвитянах ничего добродетельного, или приятного... В большинстве случаев они лукавы, развратны, обманчивы, надувалы, вероломны, вздорливы, разбойники и человекоубийцы, так что если в надежде на прибыток или получение денег убьют человека да поставят за его душу одну зажженную свечку в церкви, то считаются свободными и наказанию неподлежащими», — вспоминал о своей поездке в Москву Бернгард Таннер, участник польско-литовского посольства. «Русские по природе жестокосерды и как бы рождены для рабства...» «Натура их такова, как умный Аристотель, говорит о варварах, а именно, что они не могут и не должны жить в лучших условиях, как в рабстве...»

Такие и подобные им негативные отзывы о «московитах» в воспоминаниях европейцев весьма многочисленны и обыкновенны. Однако, читая эти отзывы, очень скоро возникает ощущение, что они писаны не с холодным сердцем. В противном случае в самом деле придется согласиться с тем, что в России жили сплошь невежды, «надувалы, вероломцы и человекоубийцы». За слишком резкими характеристиками и подчеркнутым нежеланием замечать ничего положительного угадывается странное раздражение, едва ли не личная обида, а также некоторое недоумение. Действительно, оказываясь в России, иностранцы сразу довольно остро ощущали непохожесть местных жителей, их культуры на все, что приходилось встречать в любых других странах Европы. В большинстве случаев это вызывало довольно резкую негативную реакцию и оценки. Но за ними порой слышится и скрытая полемика.

Так, Адам Олеарий, оставивший довольно обширные воспоминания о своем пребывании в Москве, среди прочего вдруг приводит сравнение русских с греками, припоминая, что и те в свое время свысока относились к окружавшим их народам, полагая, что они одни — «люди умные и с тонким пониманием, а все остальные — негреши — варвары». И поспешно добавляет, что у москвичей нет оснований так же возноситься над иноземцами, поскольку

хотя они и гордятся заимствованиями у греков и даже преемственностью от них, но на самом деле «они не имеют от них ни языка, ни искусства».

Сообщение другого автора позволяет еще более определенно представить источник раздражения иноземцев. Яков Рейтенфельс пишет о русских, что они «легковерно ласкают себя льстивым убеждением, что кроме Московии нигде ничего хорошего не делается, и что людям хорошо только у них».

Припомнив об отношении к заморским гостям на Руси, узнаем, что оно было крайне настороженным и проявлялось постоянно ко всем иноземцам без исключения. Им не разрешалось посещать православные церкви, а если кому-то случайно доводилось зайти, его тотчас выводили, а пол тщательно выметали, опасаясь осквернения святого места. Если иностранцы останавливались на постой в крестьянских избах, тотчас по их отъезде приглашался священник освятить жилище, считавшееся теперь как бы нечистым. Олсарий не без раздражения писал о том, что хозяин, давший ему и его спутникам приют на ночь, пригласил после попа, который освятил дом и иконы, «точно они были нами загрязнены». Еще больше негодования у иноземцев мог вызывать обычай, принятый в Москве при царском дворе. Допустив иностранного посланника к целованию руки, царь непременно и здесь же омывал руку в золотой чаше и вытирали насухо полотенцем. Это делалось для того, чтобы смыть, как полагали, оскверняющее православного государя прикосновение еретика. Обычай, возможно, имел целью и предусмотрительность в медицинском смысле, поскольку в Москве были наслышаны о неприятных болезнях европейцев. Наблюдавшие это мытье рук мемуаристы чувствовали себя оскорбленными. «Точно для искупления греха он умывает свои руки!» — писал иезуит Антонио Поссевин.

В действительности такое настороженное отношение к иноверцам было не проявлением доморощенной ксенофобии, а основано на строгом следовании церковным правилам и святоотеческим наставлениям. Святой Иоанн Златоуст, издавна почитаемый на Руси, учил православных избегать общения с еретиками: «Возлюбленные, много раз я говорил вам о безбожных еретиках и теперь умоляю не объединяться с ними ни в пище, ни в питье, ни в дружбе, ни в любви: ибо поступающий так отчуждает себя от Христовой Церкви. Если кто-либо и проводит житие ангельское, но соединяется с еретиками узами дружбы и любви — он чужой для Владыки Христа. Как не можем мы насытиться любовью ко Христу, так и ненавистью к врагу Его не можем насытиться. Ибо Сам Он говорит: “Кто не со Мною, тот против Меня” (Мф. 12: 30.)»{10}.

В иностранцах видели опасность самой настоящей духовной инфекции, угрозу нравственным устоям общества. В Москве были прекрасно осведомлены о том, что творится в европейских странах, о падении там религиозного чувства и торжестве мирского начала. По замечанию В.О. Ключевского, на Руси издавна привыкли считать Запад «царством мира сего», но к середине XVII века и вовсе имели все основания утверждать, что живущие там люди «величавы и горды, и оманчивы, к иохотем телесным и ко всяkim сластем слабы, и вся творят по своей воле, ко учению искательны и к мудростям и ко всяkim наукам тщательны, от благочестия же заблудились...»

Как видно, упреки и неприязнь были взаимными. На взгляд иностранцев, отсутствие в России «свободных искусств» и «высоких наук», чрезмерная приверженность исполнению религиозных обрядов делали ее обитателей невеждами и грубыми людьми, «варварами». А с точки зрения православных русских как раз увлеченность европейцев мирскими делами обрекала их на путь духовной погибели, превращала в язычников, также своего рода варваров.

Отечественная историческая наука, возникшая и оформившаяся после реформ в духе вестернизации страны, усвоила себе этот «иноzemный» взгляд на русское общество предреформенной поры, что привело к искажению представлений о целой эпохе в развитии

государственности и культуры. Суть этого взгляда, остающегося преобладающим до сих пор, выразил в свое время знаменитый историк С.М. Соловьев, отозвавшись обо всем допетровском периоде истории России — «вредная старина»...{11} Между тем вряд ли оправданно выносить такой категорический приговор в споре, являвшемся столкновением двух противоположных мировоззрений, слишком разных и по-своему самодостаточных.

Новой секуляризованной культуре в самой Европе пришлось преодолеть значительное сопротивление консервативных сил, стоявших за возвращение к аскетической морали и христианской жизни, когда изгонялись из городов актеры и комедианты, а на площадях безжалостно сжигались, как нечестивые, плоды тех самых «свободных искусств» — карнавальные маски, маскарадные костюмы, книги Пульчи, Петrarки и Бокаччо, а также игральные карты, духи, парики, даже зеркала и арфы. Сжигали, наконец, произведения живописи, среди которых видное место занимали картины на мифологические сюжеты и изображавшие обнаженную натуру.

То, что казалось в России варварством европейцам Нового времени, в действительности было живым проявлением культуры, которая раньше безраздельно господствовала и в их странах, но исчезла почти без следа. Что составляло предмет гордости и восхищения французов, испанцев, голландцев и англичан в XVII столетии, вызвало бы благочестивый ужас у их предков, точно так же, как вызывало отвращение у жителей Московского государства. Возвращаясь из поездок по западным странам, где иноземцы старались их поразить достижениями своего искусства, русские люди уносили с собой представление об окончательном духовном и нравственном разложении в заморских державах: «Златом убо и сребром многа устроена телес нагота, в них же тайноблудная вся открыта срамота». Так писал московский путешественник после поездки по немецким городам, и добавлял: «волеумным же мужем не подобает безумию их дивитися...»

Весь смысл и образ жизни православных людей Московского государства был подчинен идее защиты веры и личного соответствия правилам благочестия. Это влекло за собой множество затруднений, бытовых неудобств и ограничений, казавшихся сторонним наблюдателям слишком обременительными и ненужными. Совсем иначе относились к ним на Руси, где пример подавали сами великие князья и цари. Еще Иван III затратил немало времени и средств, чтобы отыскать для своего сына невесту, происходящую не только из знатного, но и православного владетельного дома. Поиски велись почти до самой смерти великого князя, но оказались безуспешны. Тогда Иван предпочел женить сына на не слишком родовитой, но православной русской дворянке, чем иноземной иноверной принцессе. Вопросы вероисповедания всегда являлись определяющими не только при заключении брачных союзов, но и в решении внешнеполитических задач, выборе союзников. Точно так же, как исполнение церковных правил занимало одно из важнейших мест во внутренней частной жизни «московитов».

«Когда русский отправляется к другому в дом или комнату, он сначала воздает честь Богу и произносит свое “Господи”. Только после этого он начинает говорить с людьми. В дом он входит как немой, ни на кого не обращая внимания, хотя бы даже десять и более человек находились в помещении. Лишь только войдя в комнату, он прежде всего обращается к иконе, которая обыкновенно поставлена за столом в углу; если ее ему не видно, он спрашивает: “Есть ли Бог?” Лишь только заметив ее, он, с поклонами перед нею, трижды совершает крестное знамение. Затем он оборачивается к людям, здоровается с ними и справляет свое дело... Они крестятся и молятся не только на иконы, но и на кресты, поставленные на церквях. Поэтому на улицах то и дело встречаешь молящихся русских...» — так иностранные путешественники с удивлением описывают благочестивое поведение жителей Московского царства, какого им не приходилось видеть ни в одной другой христианской стране.

Сильнее прочего иноземцев поражало, с какой строгостью русские держали пост. Во время первой недели Великого поста все жители государства, от царя до простолюдина и холопа,

почти полностью воздерживались от пищи и проводили все дни в домашних молитвах и посещении церковных служб. Прекращались все мирские попечения, бедные избы, царские палаты и боярские терема словно превращались в монастыри, так что посланникам невозможно было ни попасть на прием к сановнику, ни вести деловых переговоров.

Личный лекарь царя Алексея Михайловича С. Коллинс писал: «Покаяние их состоит обыкновенно во множестве поклонов или ударов головою об пол перед образом, а иногда в воздержании от всяких яств, кроме хлеба, соли и огурцов, и от всяких напитков, кроме воды, в продолжение целого времени года... Того, что называется поганым, нельзя есть ни в какое время; сюда относятся: конина, кобылье молоко, ослиное молоко, зайцы, белки, кролики и олени... Леденец и сахар считаются скромными, т. е. запрещенными в постные дни. Ножик, которым разрезывали мясо, остается скромным на целые сутки».

Чего никак не мог понять Коллинс, так это того, что во время поста московиты отказывались даже от приема лекарства, содержащего ингредиенты животного происхождения, несмотря на то что болезнь могла угрожать их жизни.

Православный священник, диакон Павел из города Алеппо, посетивший Москву в свите антиохийского патриарха Макария, с наивной искренностью не мог скрыть своего потрясения от увиденного: «Какое убеждение! какая вера! какая преданность Богу!.. Усердие всех московитов, больших и малых, к посещению церквей весьма велико, и любовь их к беспрерывным большим поклонам и к иконам свыше всякого описания... Что скажешь об этих порядках, от которых поседели бы младенцы, о царе, патриархе, вельможах, царевнах и знатных госпожах, кои стоят на ногах в этот день мясопуста с утра до вечера? Кто поверит этому? Они превзошли подвижников в пустынях. Но Творец свидетель, что я говорю правду...»

Павел Алеппский также упоминает об обычаях москвичей не пускать иноверцев в храмы и о прочих предосторожностях при общении с еретиками, но, в отличие от европейцев, не только не осуждает эти порядки, но считает их правильными с канонической точки зрения, с сожалением признавая, что среди прочих православных народов такая строгость давно утрачена.

С очень давних пор Русь ощущала свое одиночество в «изрушенном» христианском мире, сознавая себя единственной хранительницей вселенского православия во всей его чистоте. Это убеждение не было результатом самовнушения, безудержной гордыни или выполнением политической воли правительства и священноначалия. Со временем принятия христианства в русских землях утвердился крайне строгий, вполне в духе восточного православия, и вместе с тем простой и ясный подход к исповеданию и утверждению веры. Он был основан на неукоснительном следовании учению Церкви, утвержденном на первых семи Вселенских соборах и не допускал никакого изменения в канонах, вызванного любыми внешними обстоятельствами. Именно объективное сравнение своего исповедания с незыблевой канонической основой и с исповеданиями других христианских конфессий, «латынян и люторов», давало московским людям ясный ответ на то, кто же сохранил чистоту веры.

Это убеждение окрепло со времени Флорентийской Унии 1439 года. Отступление греческой церкви от православия, союз с Римом, хотя и временный, показал москвичам, что в деле сохранения веры они могут рассчитывать только на собственные силы.

Идея «Москвы — Третьего Рима», Москвы — как «нового града Константина» появляется на Руси со второй половины XV века. Впервые она была озвучена, по-видимому, митрополитом Зосимой, а развитие получила в сочинениях тверского епископа Спиридона и монаха Филофея{12}. В этих декларациях в большей или меньшей степени содержались, или только угадывались определенные политические амбиции молодого государства на политическую преемственность от Византии, наследственные права на ее влияние среди народов, прежде

входивших в состав империи. Но в основе идеи и, самое главное, в том, как она была воспринята и властью и народом, лежало в первую очередь представление о Москве как новом духовном Царьграде, оплоте христианства, а не символе мирского могущества. На Руси как-то быстро разуверились в возможности создания новой христианской империи. Впрочем, для такого пессимизма были серьезные основания — упадок религиозной жизни как на Западе, так и на Востоке, находившемся под властью турок, не давал никаких надежд на возрождение веры во вселенском масштабе. Целью создания нового Третьего «Рима» — была не экспансия, а сохранение, сбережение православия хотя бы в русских географических пределах.

Призванными служить всеми силами для выполнения этой задачи считали себя все без исключения жители «святорусского царства» — от великого князя до смерда. Перед великим стремлением угасали политические распри и личные счеты. Непримиримые противники, царь Иван Грозный и князь Андрей Курбский, споря о пределах личной власти и свободы, одинаково сходились в том, что православное «самодержавство» создано и должно крепнуть для защиты от внешних и внутренних влияний, способных растлить веру. А сам Курбский, много пожив среди иноверцев, до конца дней сохранял убеждение, что Русское государство — единственное на всей земле, сохранившее истинное христианство. Как он вдохновенно и вместе с тем нежно писал — «пресветлое православие».

Долгое время эту охранительную задачу удавалось успешно выполнять. Жители российского царства имели все основания сказать, что оно «стоит в православной вере неподвижно, вера же благочестивая и Божий церкви святым пением изрядно цветящаяся, и во всей Европии подобной той земли и чудные нет и всякою лепотою пречудные не обретаются, светящаяся благочестием, а человецы подобием сановиты, брадаты и платьем одены».

Важной вехой на пути укрепления православия на Руси стали постановления Стоглавого собора 1551 года. Нередко можно встретить утверждения о том, что усилиями вдохновителей и организаторов этого важного церковного совещания, среди которых были и царь Иван IV, и митрополит Макарий, христианство было превращено в некий «национальный культ». Явная ориентация деятельности соборян на русскую церковную традицию в ущерб греческому авторитету признается едва ли не апофеозом изоляционизма, который в свою очередь привел и к опричной диктатуре, а в конечном счете и к политическому кризису конца XVI—начала XVII века{13}.

Подобные утверждения, конечно, преувеличены в первую очередь потому, что на Соборе 1551 года, так же, как и на любом другом церковном соборе в России вплоть до середины XVII века, никогда не принималось решений, которые хоть в чем-то противоречили бы канонам первых семи Вселенских соборов. «Национальный культ» не мог возникнуть уже потому, что участники Собора строго придерживались общечерковных правил и им в голову не могло прийти отступить от них и начать творить какие бы то ни было новые. Единственное, что было сделано — предпринята удачная попытка упорядочения и организации национальной церковной жизни в соответствии с учением Вселенской церкви. Необходимость в этом назрела давно. История христианства на Руси насчитывала к тому времени шесть столетий, русская земля была прославлена многими подвижниками веры, святыми, мучениками. Был накоплен свой бесценный духовный опыт, были известны и пережиты свои духовные болезни. Все это требовало внимательного пересмотра, чтобы оставить здоровое и отсечь вредное, наносное.

В результате кропотливой работы, проведенной митрополитом Макарием и его помощниками еще до Собора 1551 года, было сделано многое. Не мания изоляционизма, а забота о душевном спасении паствы двигала организаторами Собора, когда они предостерегали православных от некоторых заблуждений и провозглашали требование благочестивой жизни, напоминали о твердом исполнении предписанных Церковью правил и обрядов.

Крепкие духовные основы, заложенные тогда, помогли Московскому государству выстоять в Смуту, которая оказалась не просто политической «замятней», а тяжелым нравственным недугом. И преодолен он был не столько на поле брани, сколько в душах людей. Это была в первую очередь религиозная война.

Решался вопрос о том, быть или не быть не просто «московскому государству», а именно Православному царству. Именно так и воспринимали происходящее безвестные ратники, служилые дворяне и купцы, шедшие в ополчения, без сожаления отдавая свое береженое добро и саму жизнь — не просто за «землю», не за «родину», а за «Дом Пресвятой Богородицы и за веру православную», чтобы «не быть якоже Содом и не уподобиться Гомору».

Деятельность Стоглавого Собора, его участников, безусловно, вдохновлялась идеей возвышения национальной церкви, но объективный взгляд на положение русской и прочих христианских церквей со всей очевидностью убеждает, что у соборян не было другой альтернативы. В деле сохранения именно чистоты вселенского православия им не оставалось ничего другого, кроме как опереться на собственную традицию, на духовные силы своего народа, на авторитет русских святых в то время, когда «вся благочестивая царствия, Греческое и Сербское, и ини мнози грех ради наших Божиих попущением безбожнii турци поплениша и в запустение положиша и покориша под свою власть».

Укрепление основ русской церкви требовалось еще и потому, что с XVI века увеличилось для нее количество явных и потенциальных угроз. Русское государство, остававшееся в стороне от экономических и культурных революций, происходивших в Европе с начала XV столетия, сохраняло свой уклад жизни во многом неизменным. Его можно назвать «средневековым», как делается обычно, но исключительно в условном значении слова, если подразумевать под этим преобладание в обществе религиозных настроений, ориентированность на мистические духовные ценности, отсутствие рационалистического отношения к жизни. Это был классический пример теократической культуры, пренебрегающей земным миром, тяготящейся им. Любая общественная деятельность имела ценность с точки зрения соответствия главной цели — душевного спасения. Большинство населения именовались «крестьянами» — т.е. христианами, «Христовым стадом». Учительная роль духовенства в вопросах веры была непререкаема, а светское правительство, царь и бояре, смотрели на себя и воспринимались в обществе в первую очередь как защитники веры. Их власть имела силу только в этом охранительном значении, что чрезвычайно важно понимать для правильного восприятия особенностей социальной структуры русского дореформенного общества, а также тех конфликтов, которые сотрясали его потом на протяжении столетий.

В таком государстве вся хозяйственная и экономическая деятельность сведена к минимуму, к удовлетворению самых необходимых потребностей — «на прожитье». Эта система, подобно мистическому граду Китежу, может существовать до бесконечности долго при условии полной изолированности от внешнего мира. Не так было на Руси в эпоху Нового времени. Многочисленные соседи, окружавшие страну, довольно агрессивно распространяли на нее влияние своей культуры, своих ценностей. Наконец, постоянно увеличивались военные угрозы. Для того, чтобы иметь возможность дать отпор, чтобы сохранить свою культуру, было необходимо развивать и у себя те «злохитростные премудрости», которыми сильны были окрестные державы, в первую очередь — европейские.

Поневоле приходилось заводить у себя науки, хотя делалось это с чрезвычайной осторожностью. За неимением своих специалистов обращались к чужим, которых становилось все больше, поскольку многое и требовалось узнать и развить. Стояла трудная задача — завести у себя промышленное и военное умение, равное европейскому, не перенимая при этом тех культурных ценностей и образа жизни, эти умения породившие в Европе. Отдавали себе отчет в том, что внедрение плодов чужой цивилизации, хотя бы только из практической нужды и ею ограниченное, не пройдет бесследно, потребует платы.

Опасались, как бы не заплатить слишком дорого, выше своих сил.

Опасность состояла в том, что не все могли смотреть так утилитарно и строго на чужую культуру, перенимать от нее только полезное и нужное для дела. Обывателей в первую очередь могли интересовать иноземные диковинки, которые были намного привлекательнее, заманчивее, удобнее доморощенных изделий; людей интеллектуального склада манила свобода мысли, независимость суждений, критический подход иностранцев к вопросам, о которых и подумать было страшно москвичу даже наедине с собой, не говоря о том, чтобы вынести их на публичное обсуждение.

С каждым годом соприкосновение с иноземцами становилось все теснее, как бы ни старались ограничить его в быту множеством стеснений и запретов. Инженеры, купцы, участники посольств, офицеры, лекари, ремесленники, рудознатцы, представители различных профессий из всех стран Европы приезжали в Москву, прослышиав о том, что там понадобились умелые специалисты. Англичане, а потом голландцы получили такое влияние в стране, что забрали себе значительную часть московской экспортной торговли, стремясь не только закупать вывозимое сырье, но даже обрабатывать его на месте, в России, значительно удешевляя его стоимость и вытесняя из дела русских купцов. Импорт же и без того был почти полностью в иностранных руках. Даже личные заказы царя, членов царской семьи и других знатных людей делались через агентов-иностранцев.

Торговые люди и дворяне, правительственные чиновники, дьяки и подьячие, и обычные посадские жители встречали иноземцев ежедневно, имели с ними множество деловых и частных контактов. Следствием распространения такого влияния была неизбежная эманципация всего строя жизни, до того аскетично строгого. Ревнители благочестия видели, как на глазах менялись нравы, ослабевали традиции, оказывались в небрежении посты, реже посещались церкви, и, по выражению С.Ф. Платонова, «верования переставали угнетать мысль», падал авторитет священства, а в быту перенимались чужие обычаи — иные одевались в иноземном платье, другие брили бороду. Бритье бороды считалось на Руси тяжким проступком против благочестия и жестоко наказывалось. Но никакие епитимии не останавливали любителей подражать иноземным гостям. По свидетельству середины XVII века, «сего ересию не токмо простили, но и самодержавие объяти быша».

Иноземное влияние вызвало в русском обществе два противоположных типа реакции. Одни с восторгом старались перенять все до мелочей, не просто оставляя свое, прежнее, но с неприязнью, а то и с ненавистью отзываясь обо всех без исключения обычаях и традициях родины, стараясь превзойти в этом самих иностранцев. Другие, наоборот, избегали соприкосновения с чужеземцами, закрывали, насколько это было в силах, все пути проникновения их влияния хотя бы на свою частную жизнь, а у кого оказывались такие возможности — и на общество в целом.

К числу первых принадлежит известный Григорий Котошихин, бывший подьячий Посольского приказа, человек непростой судьбы, бежавший при смутных обстоятельствах заграницу, живший в Швеции и казненный там за убийство, совершенное то ли случайно, то ли из ревности. В его записках о России первой половины XVII столетия много фактической информации, но вся она пересыпана нескрываемой злой обидой на бывших соотечественников, что лишает многие данные объективности. Люди Российского государства, по его словам, спесивы и ни к какому делу не пригодны, и «научения никакого доброго не имеют и не приемлют, кроме спесивства и безстыдства и ненависти и неправды», а также отмечены и многими другими грехами.

Котошихин по-своему объясняет нежелание русских отправлять молодежь учиться заграницей: «для науки и обычая в иные государства детей своих не посыпают, страшась того: узнав тамошних государств веры и обычай, и волность благую, начали б свою веру отменить, и приставать к иным, и о возвращении к домом своим и к сродичам никакого бы

попечения не имели и не мыслили».

Еще одним примером вольнодумца XVII столетия предстает в исторических описаниях обыкновенно князь Иван Хворостинин, впрочем, не совсем заслуженно. Князя обвиняли в сочинении злых стихов о русской действительности, в том, что ругал обычай и не соблюдал постов, пренебрегал церковными обрядами, дружил с иноземцами, говорил, что будто бы в Москве «все люд глупой, жити не с кем» и даже готовил бегство заграницу. При обыске у него были найдены латинские книги. Но почти все главные обвинения против Хворостинина в ереси были сделаны со слов его дворни, которая по каким-то причинам, видимо, не слишком любила своего господина. Он и вправду не отличался благочестивым поведением, запойно пил, был высокомерен, но вряд ли в его поведении можно уследить признаки сознательного «бунта», тем более религиозного. Свою опалу князь воспринимал как явную несправедливость:

«Писах на еретиков много слогов,

Того ради приях много болезненных налогов;

Писанием моим мнози обличиша,

А на мя, аки на еретика, ополчиша...

“Но и рабы мои быша мне супостаты,

Разрушили души моей иолаты,

Крепость и ограждение отъяша

И оклеветание на мя совещаша.

Дивно о тех, которые им верят!»

Среди сочинений князя, в юности действительно служившего при дворе первого Лжедмитрия, носившего там иноземное платье и брившего бороду, сохранилось «Изложение на еретики», написанное им в ортодоксально православном духе. Скорее всего, дело о «ереси» Хворостинина оказалось слишком преувеличенным. Нахождение латинских книг само по себе ничего не подтверждает, а обвинения в том, что князь якобы отрицал воскресение мертвых, необходимость поста, молитв и почитание икон могли быть ложными. Хотя Хворостинин, видимо, и болтал много лишнего во хмелю. Твердо установленным фактом было то, что он, пьяниствуя в Страстную седмицу, не был на Пасху в церкви.

Но общественный резонанс от этого происшествия сам по себе может помочь составить представление о степени консерватизма московского быта, если даже частное уклонение одного человека у себя в доме от принятых правил благочестия вызывало тревогу и требовало внимания самого патриарха. Хворостинин был отправлен на покаяние в монастырь, и патриарх Филарет через донесения «добрых старцев» лично следил за духовным исправлением князя.

Примеры отщепенцев — не то охотников «за вольностью благой», не то беглецов от уголовного преследования за проступки на родине, как Котошихин, или талантливых пьяниц, раздраженных неудачной придворной карьерой, как князь Хворостинин — были редки, составляли исключение. Но потенциальная опасность широкого распространения таких примеров в будущем была ожидаема тем скорее, чем сильнее в замкнутую московскую жизнь проникали чужеземные веяния. Остановить и предупредить возможное шатание в вере взялся человек, сам проведший много лет в окружении иностранных обычаяв и культуры, имевший возможность сравнить их с принятыми на родине, узнать близко те угрозы, которые

больнее всего могли ударить по традициям и укладу жизни «святорусского царства».

Династия Романовых, призванная к власти после Смутного времени, берет начало с царя Михаила, избранного «всей землей» на Земском соборе 1613 года. Но с не меньшими основаниями первым представителем новой династии на троне может считаться отец юного царя и его властный соправитель патриарх Филарет. Он имел не только равное, но часто преобладающее значение в решении государственных дел над своим сыном, официально писался «государем», единовластно мог отменять указы царя Михаила.

Во внутриполитической жизни Московского государства так неразрывно переплеталось светское и духовное, что любое правительственные решение так или иначе затрагивало область церковных дел. В этих условиях роль патриарха, к тому же еще и отца царя по плоти, была особенно важна.

Филарет вернулся из польского плена, где провел восемь лет, в 1619 году, и, не откладывая дела, круто принял за наведение порядка в государстве, расстроенном Смутой. Уже в 1621 году стараниями патриарха созвали собор, по своему охранительному значению для судеб православия близкий Стоглавому. Принятые на нем решения были призваны очистить русскую церковную жизнь от множества ошибок, послаблений и ересей, проникших в нее за время междуцарствия, Смуты, политического и духовного «шатания».

В строгом соответствии с постановлениями Вселенских соборов, «единомудрствуя по святых отец правилом, и седми вселенских, и поместных соборов и со всеми со вселенскими с благочестивыми патриархи», были выявлены и четко обозначены накопившиеся обрядовые неточности и канонические заблуждения. Был составлен обширный перечень учений, более или менее отличающихся от канонической основы вселенского «никейского» православия, ересей, как старых, так и новых, распространенных за пределами России и проникавших в нее вместе с заезжими иноземцами, от манихеев и ариан до папистов и лютеран. По каждому случаю отдельно дано краткое содержание заблуждения, указано его несоответствие учению Вселенской церкви и назначены меры для исправления вредного влияния.

Больше всего места в соборном постановлении уделено перечню ошибок учения римской церкви. Здесь сказывались и осведомленность патриарха Филарета, восемь лет жившего в католической стране и имевшего возможность в подробностях узнать все особенности «папской ереси», а также его раздражение от этого вынужденного общения.

Целью Русского собора 1621 года было защитить собственную паству от влияния иных конфессий. Потому основное внимание соборяне уделили таким вопросам, которые могли в будущем или уже успели оказать вредное влияние на церковную жизнь Московского государства. Соборным решением порицается занятие астрологией, указывается на порочность принятого в Европе нового григорианского календаря, допускающего совпадение христианской Пасхи с иудейской, что противоречит канонам Вселенской Церкви. Подробно описываются многочисленные отступления в иных христианских конфессиях от правильного держания постов, когда позволяет и в Великий пост употреблять скоромную пищу, молоко, яйца, сыр, что категорически воспрещено церковными правилами. Рассматриваются еретические искажения в Символе Веры, ошибки при причащении Святых Тайн.

Особенное внимание было обращено на одно из главнейших христианских таинств — таинство крещения. Распространенное на Западе обливательное крещение, употребляемое в католических странах, многих протестантских церквях, а также униатами в Польше, Литве, Белоруссии и Малороссии противоречило церковным правилам и являлось совершенно недопустимым с точки зрения канонического православия. На соборе постановили принимать приходящих в православие из других вер исключительно через новое крещение, в три погружения, «понеже убо еретическое крещение, несть крещение, но паче осквернение».

Вскоре после Собора появился запрет на ввоз в страну и чтение иноземных книг. Причем строже всего обошлись с изданиями, печатанными в украинских и белорусских типографиях. В 1627 году запретили книги малороссов: «Катехизис» Лаврентия Зизания и «Учительное Евангелие» Кирилла Ставровецкого. Из монастырей, церковных и частных библиотек приказано было изъять все книги украинской и «литовской» печати для того, «чтоб та ересь и смута в мире не была».

Московские ревнители благочестия издавна с подозрением относились к тому, насколько тщательно сохраняется чистота веры у близких соседей — украинцев и белоруссов. И эти опасения имели под собой прочные основания. Дворянство Западной Руси начало изменять православию еще с XVI века, переходя последовательно в кальвинизм, протестантство, а потом и в католичество, в зависимости от того, какое вероисповедание обретало силу и влияние. Русские простолюдины в литовских землях, крестьянство и значительная часть горожан оказались намного преданнее вере предков, чем знать и шляхта. Они нередко с оружием в руках защищали свои церкви от посягательств иноверцев, требовали от польского правительства считаться с их религиозными убеждениями, старались сохранять собственные традиции и обычаи.

Но успешное противостояние воздействию чужой культуры осложнялось несколькими обстоятельствами, в конечном счете предопределившими поражение. Свою роль играла сравнительная изолированность русского населения, недостаток поддержки со стороны единоверцев, ренегатство аристократии. Однако важнее всего было то, что за неимением своей налаженной системы образования, центров обучения, учителей и средств на все это — православные священники и миряне были вынуждены искать обучения в школах иноверцев — у лютеран, униатов, и в первую очередь в иезуитских училищах и латинских академиях. Причем для того, чтобы поступить в эти учебные заведения, приходилось, хотя бы и временно и для вида, оставлять православие и принимать иноверие.

В результате немалое число учеников так и оставалось потерянным для православия, но еще больше из них, выучившись, возвращались домой, принося вместе с богословским образованием его издержки — явные следы латинского или протестантского учения, а также привычку к обычаям, вкусам и образу жизни инокультурной среды. Это были люди «православного вероисповедания, но католической культуры», по меткому замечанию С. Зеньковского. С течением времени это привело к повсеместному распространению среди священников и мирян южно- и западнорусских земель многих богословских отклонений от канонического православия. Под руководством первоиерарха западнорусских земель в составе польско-литовского государства, митрополита Петра Mogилы, в Киеве в 1630-х годах был составлен новый Катехизис. В своих первых редакциях он содержал несколько положений, внесенных туда под явным влиянием католичества, в первую очередь учение о существовании чистилища.

В появившихся впоследствии собственных школах и академиях, в которых преподавали выученики латинских училищ, где языком преподавания и науки был латинский, где изучали произведения латинских писателей, воспитывались люди, которым по духу оказывались ближе христиане Запада, чем единоверцы из православной Москвы.

Некоторые из южнорусских церковных деятелей и писателей в спорах с московскими критиками вынужденно признавали собственные отступления и «погрешения», признавали подверженность своего богословия чужим влияниям, полным «лжи и яда змия адского», как говорил Кирилл Транквиллион-Ставровецкий. А украинские монахи, зная про недуги местного благочестия, о Могилянской академии, ее преподавателях и учениках, отзывались весьма скептически, утверждая, будто там «тайное гнездо антихриста уfundовалось»...

Со второй четверти XVII столетия малороссийское интеллектуальное влияние в Московском государстве расширяется. Но в действительности это означало проникновение в страну не

столько южнорусской, сколько польской культуры. А полонизация «святорусского царства» в конечном счете вела к разрушению самобытности и распространению начал западноевропейской цивилизации в России.

Эту следственную связь чутко уловили сами европейцы, жившие в Москве. Они отмечают, что с течением времени прежняя строгость московских нравов смягчается, как скоро они оставляют дедовские обычаи и начинают подражать иноземцам. Русские люди приобретают вкус к удовольствиям и даже роскоши. Строят более дорогие каменные дома вместо прежних «убогих» деревянных, тратят больше средств на красивую одежду, заводят богатые кареты, проводят свободное время в беседах за бокалами вина, а не в бесконечных постах и в церкви. Заслуга в этих переменах отдается усилению именно польского влияния в России. Личный лекарь царя Алексея Михайловича, англичанин С. Коллинс, так и не преодолевший своей неприязни к русским, среди которых прожил много лет, прямо указывает на причину приятных для него изменений: «В целом мире нет таких негодяев; есть, однако же, и между ними много добрых людей. Те, которые расширили понятия свои разговором с иностранцами, образованнее; также и те, которые видели польский быт, хотя он мне и не слишком нравится...»

Известно, с каким пренебрежением относились к Польше в Западной Европе, считая поляков дикарями, а их страну — окраиной цивилизованного мира, за которой начинается территория едва ли не людоедов с песьими головами. Но в сравнении с бесконечно чуждой и непонятной «Московией» Польша оказывалась все-таки «своей», на нес возлагалась культуртрегерская миссия нести свет цивилизации Запада во мрак Востока.

Московские ревнители благочестия не менее остро ощущали это агрессивное проникновение во внутренний мир своего государства чужого мироощущения, отдавали себе отчет в том, что спор идет не о внешних приметах быта, а о выборе пути дальнейшего духовного развития. Они восставали не против «науки» и знания, в чем поверхностно винили их европейцы, а против обмирщения жизни, как неизбежного следствия рационализации сознания. И поступали так не от невежества, а от сильно развитого в их сердцах того самого «страха Божия», утрату которого столь горько переживали еще гуманисты эпохи раннего Ренессанса.

Философия и наука, свободные от христианского смирения, призванные утверждать не веру в Бога, а в самодостаточность человеческого разума, направленные на земные нужды и утилитарные мирские цели, были чужды сознанию не только русских людей того времени, но религиозной психологии вообще во все времена. Максим Грек, европейски образованный византиец, приехавший в Россию в первой половине XVI века и оказавший своими трудами немалое влияние на формирование русской богословской мысли, выразил общехристианский взгляд на мирское «мудрование», приобретавшее столь большое влияние на европейском Западе. Он предостерегал от излишнего увлечения античной философией, художествами и прочими знаниями в ущерб вере. Он выступал не против светской образованности, а за то, чтобы подчинять ее мирской потенциал духовному началу. Максим признавал: «некоторые светские науки хороши и нужны для человеческого существования, — но отмечал в то же время, что — большая часть их вредна и скрывает в себе пагубу».

На Руси разделяли такой взгляд на мирское знание, стремясь подчинить его утилитарным задачам, ставя его много ниже духовного опыта: «Афинейская бо ради премудрости никто же спасется, ходяй же по заповедех Божиих, к небеси вознесется», — наставлял учеников один из писателей русского XVII столетия инок Савватий. Это утверждение вполне выражало точку зрения лучших представителей восточного православия. Обладая весьма хорошим богословским образованием, отличным знанием Ветхого и Нового Завета, творений отцов Церкви, а, кроме того, и начитанностью в области светской литературы, довольно вкусив от плодов той самой «еллинской премудрости», они решительно отказывались покорить ей свои души и души своих единоверцев.

«Нас, овец Христовых, не премудряйте софистами своими, нам ныне неколи философства вашего слушать, — возражал на изощренные приемы речи иноземного “ритора” один из высокообразованных московских писателей, ключарь Успенского собора Иван Наседка, добавляя строго: — Уже бо кончина миру прииде, и суд Господень при дверех...» \* \* \*

Отречение от мира и пренебрежение его соблазнами, искренняя религиозность и сосредоточенность на душевном спасении проникает во все слои Московского государства. Приезжавшие в Москву единоверцы из других стран отмечали соединение в местных жителях приверженности сохранению церковного обряда с неподдельным благочестием, которого не встречали больше нигде. С трепетом вспоминал один из них: «Тут-то (в России) мы вступили на путь усилий для перенесения трудов, стояний и бдений, на путь самообуздания, совершенства и благонравия, почтительного страха и молчания...»

Часто не «сверху», — от патриаршего и царского престола, — а из народной гущи доносятся настойчивые требования защиты «пресветлого православия» от внешних и внутренних посягательств. Солдаты и рейтары из новосозданных полков иноземного строя бьют челом на государево имя, отказываясь служить под началом офицеров-еретиков. Настоятели приходов и прихожане просят ограничить число иностранцев и запретить им строить в городах рядом с православными церквями свои «ропаты»[3]. Появляются энтузиасты возрождения благочестия, среди которых священники и миряне, указывающие на множество отступлений от канонов в посвященной жизни. Возникает движение, получившее в научной литературе название «боголюбческого». С. Зеньковский так характеризовал его: «По всей стране... раздаются голоса, требующие от иерархии перемен: повсюду растет религиозное напряжение, со всех сторон стали видны признаки нового мощного религиозного движения... Представители этого течения хотели стать христианами не только на бумаге, но и на деле»{14}.

Появляется много имен видных деятелей этого церковного возрождения, среди которых архимандрит Троицесергиева монастыря Дионисий, окруженный благоговейным почитанием, имевший непрекращаемый духовный авторитет, его ученики, сотрудники и последователи — Симон Азарин, Иван Неронов, Иван Наседка и еще больше почти безвестных подвижников и ревнителей очищения веры. Некоторые из них обращаются в своих произведениях к трагедии Смуты, ее причинам и утверждают читателей в мысли, что отступление от благочестия в вере и от своих национальных традиций, засилье иноземцев угрожает самому существованию народа. Другие очищают богослужебные тексты от вкравшихся в них ошибок бескомпромиссно, не боясь ни преследования, ни лишений и побоев, восстают против падения нравов, против пьянства, сквернословия и небрежения церковными правилами. Обличают пороки воевод и представителей иерархии, гонят скоморохов, искореняют остатки языческих традиций и суеверия.

Движение боголюбцев направлено на исправление прежних ошибок и недопущение их повторения. Их цель — возрождение веры и защита национальной самобытности, сохранение Руси — «святорусского царства», Третьего, последнего «Рима» — оплота веры.

Русская церковная реформация, в отличие от европейской, была направлена на возрождение христианской жизни в строгом соответствии с каноническими правилами. Целью реформаторов было не привнесение вольностей и новшеств в обряды и толкование священных текстов, а искоренение любых несоответствий в духовной практике со священными образцами, возвращение к незыблемой основе вселенского православия.

Их главным и единственным оружием стала проповедь. Живое слово, обращенное к слушателям, возрождало традиции пастырских поучений, которыми так сильно было русское богословие прежних времен. Слово стыдило за пороки и вдохновляло на их преодоление, вселяло надежду на духовную победу. Проповедники много терпели за свою смелость — их травили собаками и медведями лихоимцы-воеводы, били смертным боем в ночи

раздраженные назойливым морализаторством пьяницы и блудодеи, гнали нерадивые попы, не желавшие что-либо исправлять в своем быте, часто далеком от образцовой добродетели. Но проповедь не глохла, а становилась все громче и настойчивее.

Правительство, в первую очередь духовное — патриарх Филарет и его окружение, прислушивалось к голосам проповедников церковного возрождения и старалось идти навстречу их требованиям, поскольку полностью разделяло их тревоги и цели.

Неуклонно усиливали строгие меры по отношению к иноземцам. Кроме перечисленного ранее, запретили им приобретать дома в собственность у горожан и старались селить их отдельно от русских обывателей, в застраиваемых специально для этого местах — прообразе будущей Немецкой слободы, а возможности для строительства «кропат» были сильно ограничены. Всячески пытались склонить иностранцев на государственной службе принять православие, а встречая слишком упорное сопротивление, предпочитали отказываться от услуг порой ценных специалистов. По крайней мере, строго запретили иноверцам иметь у себя православную прислугу и держали служилых иноземцев на денежном окладе, стараясь не наделять их поместьями с русскими крестьянами.

Не менее строго и быстро реагировали власти на сообщения о нестроениях в церковной жизни. За любые нарушения в обрядах, несоблюдение канонов и недостойное поведение чиновники и священники, а порой и епископы подвергались епитимиям или отстранялись от исполнения обязанностей, отправлялись в монастырские тюрьмы «на исправление». Пьянство и разврат, нечестивые развлечения считались едва ли не государственным преступлением. Была объявлена настоящая война скоморохам — их вылавливали, отнимали музыкальные инструменты, ссылали на окраины государства, заставляя заниматься полезными промыслами или землепашеством.

Патриарх Филарет не только возглавлял эту борьбу за возрождение благочестия, но лично знал и поддерживал наиболее бескомпромиссных ее деятелей. Среди его ближайших сотрудников были архимандрит Дионисий и Иван Наседка. Благодаря помощи Филарета был рукоположен в священники и начал свою проповедь Иван Неронов. Возможно, не без поддержки патриарха начал свою деятельность и получивший славу неутомимого подвижника веры старец Капитон.

В 20—30-е годы XVII века обширные пространства Заволжья оказались охвачены необычайно сильным религиозным движением, отличавшимся крайними формами аскетизма и радикальным неприятием окружающего мира. Его основатель, Капитон, вел столь строгий образ жизни, что это дало повод позднейшим исследователям для обвинений его едва ли не в изуверстве. Иначе думали современники, благоговея перед подвижничеством старца, как «велика и совершенна постника». В начальный период своей деятельности Капитон возложил на себя тяжелые железные вериги, но вследствии заменил их еще более тяжкими каменными. Поверх них, круглый год, в самый лютый мороз, он носил только короткий плащ, едва достигавший колен. По описаниям людей, видевших старца, он «вериги на себе носил каменные, плита созади, а другая спереди, по полтора пуда в обеих: и всего весу три пуда. Петля ему бе пояс, а крюк в потолке, а обе железны, то ему постеля: прицепил крюк в петлю повисе спати...»

Правила поста в обители Капитона превосходили все известные ограничения. Во все дни он вкушал только от «семен и ягодичия и прочих, растущих на земли». На Пасху он не позволял себе ничего скромного, но ел сам и давал ученикам вместо пасхальных яиц только головку красного лука. Молитва утром, днем и ночью, земные поклоны, число которых часто далеко превосходило тысячу — таков аскетичный быт этого старца.

Умерщвление плоти, строгое постничество совершено в духе отшельников от мира первых веков христианства — не только не отпугивало, но привлекало в Капитонов скит множество

последователей. Некоторые оставались там и становились его учениками, большинство, подивившись необычайной строгости и поклонившись подвигу старца, возвращалось обратно, разнося по селам и городам славу о великом подвижнике веры.

Вокруг Капитона собралось несколько учеников, «славные постницы и железоносцы», продолжившие его дело. Среди них: «дивный Леонид», «всепречудный Яков», «всепрекрасный Прохор», «великий и премудрый Вавила». Этот Вавила был, как следует из официальных документов и биографических свидетельств, иноземец «люторской веры», каким-то образом попавший в Россию и здесь познакомившийся с учением Капитона. Он пришел к нему в скит, принял православное крещение и стал одним из вернейших последователей старца. Вавила выделялся из числа остальных учеников Капитона не только самоотверженным подвижничеством, но еще и тем, что был светски и богословски великолепно образован — он в молодости учился в парижской Сорбонне, знал несколько языков. Некоторое время жил в обители Капитона и келейник патриарха Филарета, знаменитый твердостью в исповедании православной веры старец Корнилий, проживший весьма длинную жизнь и стоявший впоследствии у истоков возникновения старообрядчества. Так, неисповедимым образом, сплетались в скиту, затерянном в дремучих вологодских лесах, судьбы людей, оказавших разное влияние на будущее православия в России.

С конца 30-х годов на Капитона и его последователей, «лесных старцев», обрушивается преследование со стороны правительства и церковной власти. К этому времени патриарх Филарет умер, и его место занял Иосаф. Хотя он и был близок Филарету, отличался благочестивой жизнью, да и стал новым патриархом по благословению и желанию предшественника, все же он значительно отличался от него и дарованиями, и целеустремленностью и происхождением[4].

Было решено закрыть основанные Капитаном и «лесными старцами» скиты, а их насельников взять под стражу и допросить. Священноначалие смущал слишком радикальный настрой заволжских отшельников, строгости их жития, далеко превосходившие принятые уставы и образ жизни в православных монастырях. Но преследования не достигали цели — старцев вовремя предупреждали местные жители, и те скрывались до прихода правительственные отрядов. Вместо закрытых скитов основывались новые, более многочисленные. \* \* \*

То почитание, каким были окружены «лесные старцы», популярность их учения в народе, несмотря на свою чрезвычайную аскетичность, а также само появление столь враждебного окружающей мирской действительности движения именно в данное время можно объяснить внутренним положением в России, сложившимся к середине XVII столетия.

Окончание Смуты, восстановление независимости государства под управлением новой династии удивительным образом почти не принесли эмоционального подъема в русское общество, но, напротив того, сопровождались усилением в нем пессимистических настроений и даже эсхатологических ожиданий.

События междуцарствия, хождение в стране иноземцев, насилия и разорение, примеры чудовищной жестокости, падение нравов и авторитета власти — все это оставило глубокий след в народном самосознании. Породило, с одной стороны, ненависть к иноверцам и иностранцам вообще, а также боязнь повторения подобных смут в будущем. А с другой — приучило быть требовательными к правительству, и даже дерзкими с ним. Москвичи очень независимо и свободно обращаются к государям новой династии: «Что нам цари — пастушки они дети. Такая же их мать, как и наша!» — о таких смелых речах, звучавших на улицах и площадях в самой столице, доносят во дворец[5].

Первая половина столетия, от изгнания поляков до воцарения Алексея Михайловича, представляет собой весьма напряженное время как во внешнеполитических отношениях, так и прежде всего — во внутренней жизни страны. Преодолевшее Смуту Московское

государство было очень бедным, люди, независимо от сословной принадлежности, испытывали «во всем скорбь» — нечем было не только платить подати, отбывать государеву службу, но и прокормиться самим и накормить семьи.

Нарастало недовольство правительством, неспособным обустроить землю. При жизни Филарета все же удавалось и сдерживать слишком горластых крикунов, и вытягивать страну из омута экономических, социальных и духовных проблем.

Но последнее десятилетие царствования Михаила, когда ему пришлось править одному, без отца-патриарха, было довольно неспокойным. Состояние государства, бедственное положение подданных давали основания ожидать в ближайшем будущем новых смут. Иностранные посланники с уверенностью сообщали своим правительствам, что в Московии «государственный строй непрочен, и переворот в ближайшем будущем неизбежен».

Неустойчивости в положении новой династии добавили распространившиеся слухи о том, что наследник престола, царевич Алексей — на самом деле не сын царя. Об этом широко толковали в Москве и прочих городах, причем слухи были прочные и давние. Так, еще в 1635 году архимандрит Хутынского монастыря в Новгороде Феодорит говорил доверенным людям: «Бог де то ведает, что прямой ли царевич, на удачу де не подметной ли?..»

В Москве несколько лет жил датский принц Вальдемар, за которого царь Михаил собирался выдать свою dochь Ирину. Свадьба откладывалась по причине нежелания принца перейти в православие. Но народная молва упорно приписывала Михаилу намерение не только женить королевича на Ирине, но и сделать его своим наследником, якобы уверившись в незаконном происхождении Алексея. Именно поэтому, как считали, царь так упорно настаивал на перекрещивании Вальдемара вопреки первоначальному договору не принуждать его к перемене веры.

Подобные утверждения не были лишены определенных оснований. Во-первых, не могло не казаться странным настойчивое желание царя Михаила Федоровича довольно долго удерживать жениха, отказывавшегося переменить веру, в России. Подозрительна была и необычайная щедрость к иностранному принцу — по условиям брачного договора в приданое за невестой Вальдемару «на вечные времена» отдавали Суздаль, Ярославль, Псков и Новгород Великий с тянувшими к ним областями — едва не половину царства, без владения которой будущий царь Алексей, даже и оставшись формально наследником, никогда не смог бы править самодержавно и самостоятельно{15}.

С практической точки зрения в этих предположениях и слухах не было ничего невероятного. Все помнили события недавнего времени, когда страна, после пресечения законной династии, готова была просить на царство иноземного принца — королевича Владислава. Ему уже приносили клятву верности от имени «всей земли» знатнейшие бояре, в том числе и сам Филарет, отец нынешнего царя. Единственным препятствием тогда, как и сейчас, было вероисповедание претендента на русский престол.

Насколько упорны были толки и как серьезно тревожили они правительство, показывает тот факт, что разбирательство этого дела велось и спустя несколько лет после воцарения Алексея и выдворения принца Вальдемара из России. Интересны показания князя Семена Шаховского, принимавшего активное участие во всем, что было связано с переговорами Вальдемара и царя Михаила. На допросе Шаховской показал, что Михаил Федорович действительно прочил королевича в свои наследники. Причиной такого намерения князь Семен указал сомнение Михаила в законности происхождения царевича Алексея{16}.

В январе 1649 года шведский резидент Поммеринг сообщал в своем донесении королеве Христине: «Князь Шаховской чуть было не потерял свою голову за то, что он, как говорят, сказал... что его царское величество — незаконнорожденный»{17}.

Невозможно определить, насколько бродившие тогда слухи о незаконности Алексея Михайловича были оправданы, и вряд ли это имеет важное значение. Гораздо важнее то, что они показывают отношение народа к собственному правительству. Царей новой династии не уважали и не любили.

Вступление на престол Алексея сопровождалось не только сплетнями, но и мрачными предсказаниями. Из уст в уста передавали, будто новый царь любит иностранные обычаи, ласкает иноземцев и хочет дать им в России во всем волю и власть. Убежденно толковали, что скоро порушено будет древнее благочестие и православная вера<sup>{18}</sup>. Вспоминали удивительное пророчество патриарха иерусалимского Феофана, приезжавшего в Москву в начале правления Михаила Федоровича, еще до рождения царевича Алексея. Патриарх будто бы сказал тогда: «Во истину глаголю вам, отцы и братие, ныне убо яко солнце сияет, тако в московском государстве един православный и благочестивый царь... А когда будет у вас в России царь с первыя литеры (буквы), при том переменятся законы церковные и обычаи христианские, и будет гонение велие и мучительство на церковь Христову».

Не успел юный царь принять государственные дела, доставшиеся от умершего отца, как в суздальских лесах известный благочестивой жизнью отшельник Михаил уже говорил о нем своим ученикам и окрестным жителям: «То несть царь, братие, но рожок антихристов!..»

Эти слухи и опасения кажутся, на первый взгляд, тем более странными, что новый царь представлял собой настоящий образец благочестия, и те, кто лично видел и знал Алексея, свидетельствовали о его безукоризненном, с точки зрения соблюдения церковных правил, образе жизни.

В момент смерти Михаила, наступившей 12 июля 1645 года, новому царю было пятнадцать лет. Он получил традиционное для русского царевича воспитание. Значит, был обучен грамоте по Псалтирю, превосходно знал Священное Писание и каноны вселенского православия, поскольку русский царь воспитывался как защитник веры, а также историю своего государства и окрестных земель. Вот почти и все, чему учили будущего правителя. Античная философия, разнообразные художества и светские навыки, принятые при европейских дворах, например, танцы и тому подобное, считались душепогибельными искусствами и не допускались во дворец. Вредным для нравственности и практически не нужным царевичу полагали и обучение иностранным языкам.

И все-таки обучение Алексея отличалось от принятого в прежнее время несколькими существенными чертами. Его воспитатель — «дядька», боярин Борис Иванович Морозов, нарушил старые запреты и нашел необходимым более близко познакомить своего воспитанника с чужеземной культурой и обычаями. С его подачи Алексей получил более подробные представления о европейской истории, часто лично встречался с иноземцами, получал переводы некоторых европейских книг. Кроме того, не вполне понятно, чем руководствовался боярин, сам человек старой московской закваски и консерватор, приучая юного Алексея и его друзей носить иногда иноземную одежду.

Но в остальном воспитание царевича было совершенно традиционным, и упомянутые особенности, казалось, не оказывали сколько-нибудь заметного влияния на него самого и на уклад жизни дворца. Царское жилище представляло собой все тот же монастырь в миру, строгости устава которого удивлялись иноземцы.

Примером христианского благочестия стала и свадьба Алексея Михайловича, случившаяся на третий год его царствования, в 1648 году. В отличие от торжеств такого рода, происходивших раньше и обставленных множеством скромных подробностей и обычаев, идущих из древней, часто даже языческой старины, бракосочетание юного царя напоминало многочасовую церковную службу. После продолжительного молебна в церкви молодые сидели за свадебным столом, за которым звучали духовные песнопения и нравоучительные

наставления, так что казалось, что гости присутствуют на царском отречении от мира, а не на празднике продолжения царского корня в мире.

Сразу после свадьбы молодые уехали в продолжительное паломничество по монастырям. А спустя несколько месяцев в Москве началось самое крупное восстание со времен Смуты, едва не уничтожившее династию. \* \* \*

1 июня, когда царь Алексей возвращался в столицу из очередного богомолья, его поезд был встречен разъяренной толпой, требовавшей расправы над неправыми судьями, мздоимцами и боярами. С ненавистью выкрикивали имена Плещеева — главы Земского приказа, окольничего Траханиотова, думного дьяка Назария Чистого и громче других — ближайшего к царю человека, его «дядьку» боярина Бориса Ивановича Морозова, фактического правителя государства. Стража разогнала недовольных, и царь смог проехать во дворец.

Всю ночь в городе было неспокойно. А на следующий день начались погромы некоторых боярских дворов и домов приказных людей. Одних прибивали тут же, других, пытавшихся скрыться, ловили на улицах. Поймали и забили до смерти дьяка Чистого. Толпа в несколько раз более многочисленная, чем накануне, отправилась к царскому дворцу. Снова требовали выдачи Плещеева, Траханиотова и Морозова. Стрельцы, которым велели разогнать мятежников, в большинстве отказались подчиняться приказам начальных людей, а некоторые прямо присоединились к толпе. Тогда царь Алексей сам вышел к разъяренным горожанам и стал уговаривать их разойтись, обещая, что все просьбы будут рассмотрены и выполнены. Но москвичи отвечали молодому монарху с «великим невежеством», как указывается в источниках, современных событию, — иначе говоря, грубо брали Алексея и его близких людей, хватали за полы одежды. Царь пережил тогда, без сомнения, самые неприятные моменты своей жизни. Чтобы утихомирить восставших, им выдали, наконец, судью Земского приказа. Плещеева забили палками до смерти и вновь требовали Морозова. Царь умолял горожан пощадить своего воспитателя, который был ему «отца в место», обещал отстранить его от всех дел.

Спасая дорогое ему «дядьку», Алексей велел выдать на расправу толпе окольничего Траханиотова. Пока восставшие громили дворы ненавистных вельмож, Морозова тайно отправили в монастырь на Белом озере. А в ночь на 3 июня начался сильный пожар, в котором сгорело больше половины Москвы. Виновниками пожара, случившегося так кстати и отвлекшего силы мятежников, называли, и не без оснований, боярских холопов Морозова и Чистого. Сами восставшие, неумолимоправлявшиеся с ненавистными администраторами и вельможами, старались не допускать бесчинств и грабежей сторонних людей. Даже во дворе Бориса Ивановича Морозова, словно доказывая, что целью их выступления является не разбой, а требование справедливости, москвичи не присваивали себе сказочных богатств царского «дядьки», а демонстративно уничтожали их — разбивая дорогую посуду, ломая изысканные кареты, стирая в порошок драгоценные камни, распарывая ткани и разливая заморские вина. Так же поступали и во дворах других жертв.

В обширной литературе, посвященной московскому восстанию, высказываются разные взгляды на цели восставших, поводы для их выступления и даже действительную виновность боярина Бориса Морозова и его сотрудников. Можно не сомневаться, что определенные злоупотребления властью, мздоимство, неправый суд и прочие разнообразные грехи, свойственные любой администрации, случавшиеся и раньше, имели место и в данном случае.

Но не они стали настоящей причиной такого сильного возмущения. Повсеместное недовольство властью и ее действиями распространялось много раньше. К лету 1648 года восстания охватили многие города страны, от юга до севера, ими были охвачены Великий Устюг, Сольвычегодск, Курск и Воронеж. Несмотря на пожар, волнения продолжились и в Москве, а спустя немного времени в Новгороде Великом и во Пскове произошли столь

мощные выступления против правительства, что отчасти приобрели характер гражданской войны.

Недовольны существующим положением вещей в государстве были все. Однако брали власть и заводили мятежи не только и не столько «черные люди», городские низы и бедные крестьяне, сколько те, кто обладал определенной собственностью, имел, что терять. Во главе восстаний середины XVII столетия нередко стоят обеспеченные горожане, купеческая верхушка, представители среднего и крупного поместного дворянства. А основной силой выступлений против правительства являются посадские люди, ремесленники, мелкие торговцы, стрельцы, городовые дети боярские и мелкопоместные дворяне, казаки, солдаты полков нового «иноземного» строя.

У каждой из этих групп были свои требования. Посадский люд выступал за ликвидацию боярских и церковных «белых» слобод, свободных от уплаты государственных налогов, жители которых поэтому составляли сильную конкуренцию обитателям «черных» сотен. Дворяне указывали на злоупотребления больших бояр, которые переманивали к себе в вотчины на выгодных условиях крестьян, отчего дворянские поместья безлюдели, приходили в запустение, и ратной службы с них нести было уже нельзя, а службы требовали и за неисправности сурово взыскивали. Помещики просили возвращения всех ушедших в разное время крестьян и введения бессрочного сыска беглых. Стрельцы жаловались на невыплату жалованья, на притеснения со стороны городской администрации. С укором говорили царю: «Идет де твое государево жалованье иноземцам, а вы де природные живите с травы и с воды и с кнута...» И все вместе жаловались на невиданное взяточничество приказных и жадность воевод, разорявших поборами и без того небогатые поместья, хозяйства и дворы.

Правительство давно сознавало необходимость обновить государственный механизм, упорядочить законодательство, устраниТЬ или, по крайней мере, попытаться ослабить развитие таких негативных явлений, как самоуправство воевод и взяточничество. Открытое недовольство людей «всей земли» заставило еще больше поторопиться. За несколько месяцев был подготовлен проект нового Уложения, или свода законов.

Работа над Уложением не была секретом, точно так же, как и обстоятельства и причины, ускорявшие ее. Иностранные резиденты в Москве сообщали своим правительствам, что в Кремле «работают прилежно над тем, чтобы простолюдины и прочие были удовлетворены хорошими законами и свободою».

Сами законодатели во главе с царем Алексеем и руководителем всей подготовительной работы, князем Н.И. Одоевским, позаботились о том, чтобы их деятельность воспринималась именно как надсословная забота о благе всех жителей государства, вне зависимости от происхождения и состояния. В предисловии к Уложению прямо заявлено, что оно составлено для того, «чтобы Московского государства всяких чинов людем, от большего и до меньшего чину, суд и расправа была во всяких делех всем ровна».

Но случилось так, что в действительности Соборное Уложение 1649 года, по-видимому даже вопреки воле своих составителей, оказалось документом, сыгравшим негативную роль в развитии Российской государственности.

Фактически Уложение отразило в себе юридическую практику, как она сложилась в предыдущее царствование. Оно состоит из 25 глав, содержание которых охватывает почти все сферы социальных и хозяйственных отношений. В нем предусмотрены случаи богохульства и оскорблении царской чести, а также кара за эти преступления (первые главы Уложения). Наряду с этим рассматриваются вопросы правового положения стрельцов и прочих ратных людей, порядок судопроизводства, регламентируются вопросы земельной собственности, приводится перечень преступлений, за которые назначена смертная казнь, и т.д.

Несмотря на столь пестрый состав статей, в содержании Уложения можно определить его главную цель — оно направлено на дальнейшее усиление роли государственного аппарата в жизни страны за счет урезания или уничтожения множества частных индивидуальных прав и привилегий. Такую тенденцию принято называть централизацией управления, но в исторической перспективе и в конкретных исторических обстоятельствах, как они сложились в России со второй половины XVII века, эта тенденция стала прологом для формирования деспотизма.

С конца XV — начале XVI столетия социальное развитие Московского государства складывалось на совершенно других основаниях.

Окончание удельной раздробленности и объединение русских земель под властью московских великих князей стало завершающим этапом в формировании национального самосознания русского народа как единого духовного целого, сопровождалось значительным экономическим подъемом. Вместе с тем требовал решения непростой вопрос о том, какими путями пойдет дальнейшее развитие общества и государства. Весь предшествующий опыт существования отдельных самостоятельных или полу самостоятельных княжеств свидетельствовал в пользу достаточно большой индивидуальной независимости граждан. Главное отличие эпохи русского «феодализма», если пользоваться этим привычным, но требующим множества оговорок определением, от классического феодализма европейских стран заключается в том, что русский простолюдин никогда не терял личной свободы. Он никогда не был завоеван, подобно ангlosаксу или жителю Галлии, и не терял правоспособности. Древняя Русь не знала ничего подобного крепостному праву Западной Европы, возникшему как следствие иноземного завоевания местного населения.

Известные на Руси разнообразные формы зависимости имели, в большинстве случаев, иную природу происхождения, чем на Западе, и тщательно регламентировались законодательством, ограничивавшим господский произвол в отношении даже полных «обельных» холопов. Абсолютное же большинство населения, как городского так и сельского, было свободным, принимавшим активное участие в политической и общественной жизни. Наиболее полно эти черты социального устройства средневекового русского общества проявились в быте вичевых республик — Новгородской и Псковской, но в значительной степени были распространены на всей территории Древней Руси.

Традиции московского княжества и политика его правителей несколько отличались от принятых в других русских областях, но эти различия часто слишком преувеличены в позднейших исследованиях. В целом понятие личной свободы, а также известные пределы полномочий верховной власти перед имущественными и духовными правами граждан были определяющими и во владениях московских Даниловичей.

Расширение территории государства, увеличение населения с несколько отличавшимися друг от друга представлениями о месте и роли обывателя в общественной жизни, его взаимоотношения с правительской властью, и в первую очередь необходимость удержания всего этого многообразия в единых границах, ставили перед выбором: усугублять «московский» авторитарный вариант развития или предпочесть ему общерусский, традиционный, с приоритетом начал личной свободы и местного самоуправления.

Постепенно преобладание получал именно второй вариант. Сложившийся к XVI веку способ внутреннего устройства в Московском государстве отличался столь высокой степенью защиты населения от произвола административной власти, а также от насилия со стороны богатых и могущественных людей, что это заметно отличало его от порядков, принятых в других странах.

Наместник, назначавшийся на управление городом или областью, был ограничен в своих

действиях двойным контролем — из центра и на месте своей административной деятельности. Полномочия правителя было достаточно строго и подробно регламентированы. Такие администраторы именовались «кормленщиками», поскольку по обычаям их работа оплачивалась не из казны, а за счет средств жителей области, куда они были посланы. Это называлось «кормлением». При отъезде в должность из Москвы кормленщик получал на руки лист, в котором детально описывалось, какое вознаграждение и в каком размере он имеет право получать от населения, и за выполнением этих предписаний тщательно следили местные выборные старосты.

Роль выборных людей в управлении вообще была чрезвычайно высокой. Избирающиеся всем населением города или уезда старосты, сотские, целовальники и прочие земские власти постоянно сопутствовали наместнику в его деятельности. Их обязанностью было «правду стеречи» — не допускать нарушения местных обычаев, интересов жителей, следить за соблюдением их прав.

Конечно, на практике существовало и немало отклонений от этого порядка, злоупотреблений властью со стороны наместников. Но сроки «кормлений» были, как правило, не слишком продолжительными. Если население было недовольно деятельностью прежнего «кормленщика», жители могли подать на него жалобу в центральные органы власти. Такие случаи были весьма частыми и обычновенными. Назначалось расследование, и если обвинения подтверждались, бывший управитель был должен возместить истцам все понесенные ими убытки и прочий вред из собственных средств. Так что нередко «кормление» оборачивалось для нерадивых или корыстных наместников полным разорением.

В Московском государстве существовал и сохранившийся от древних времен обычай не выносить тяжбу в гражданское судопроизводство, а доверять решение дела «Божьему суду» — вызывать обидчика на поединок, победивший в котором признавался правым.

Летописные свидетельства подтверждают, что жители не церемонились со своими наместниками и не стеснялись искать управы на их неправомочные действия всеми доступными способами — от жалоб в Москву до вызова «в поле» на честный бой: «Как съедет кормленщик с кормления, мужики ищут на нем многими исками, и при этом совершается много “кровопролития и осквернения душам”»{19}.

Хотя, как не без иронии отмечал В.О. Ключевский: «Что могло быть соблазнительнее зрелища судебной драки бывшего губернатора или его заместителя, дворового его человека, с наемным бойцом, выставленным людьми, которыми он недавно правил от имени верховной власти»{20}, — этот обычай зримо подтверждает степень социальной правоспособности русского простонародья в Московском государстве. Он подтверждает также бытование в людях развитых представлений о собственной чести и достоинстве и своем неотъемлемом праве на их защиту, которое гарантируется при этом правительственной властью.

Значение последовавшей вскоре, в середине XVI века, земской реформы царя Ивана Васильевича заключалось в том, что она еще более расширила и законодательно утвердила права местного самоуправления, прежде во многом регламентировавшиеся неписанным обычаем.

В 1555 году была издана грамота, извещающая о том, что отныне по царскому указу решено «во всех городех и волостех учинити старост излюбленных... которых себе крестьяне меж себя излюбят и выберут всею землею» и которые умели бы их рассудить в правду, «безпосулью и безволокитно»{21}.

Вместо управления наместников-кормленщиков земские миры получали право, выплатив в казну небольшой оброк, равнявшийся обычному содержанию наместника, избрать из своей среды администрацию, подотчетную обществу — земских старост и целовальников, губных

старост. В их ведении находилась теперь вся внутренняя жизнь «мира» — они вершили суд и разбирали тяжбы, сыскивали преступников, следили за сбором податей и налогов.

Ничего подобного такой степени свободы и самоуправления граждан не знало в то время ни одно другое государство Европы. И хотя, как уже отмечалось и как бывает почти всегда, в практической жизни можно было встретить и немало негативных проявлений, несколько омрачающих картину социального устройства московского общества, важно отметить намечавшуюся тогда тенденцию его дальнейшего развития.

Государство вставало на путь расширения и защиты социальных прав своих граждан, имело целью не декларированную, а практическую защиту их имущественных интересов, справедливый надсословный суд. Складыванию такого типа внутреннего устройства способствовали как давние демократические обычаи и традиции, унаследованные от прежних времен, так и небывалый рост религиозных настроений в обществе. Люди Московского царства, православные христиане, осознавали себя единым целым, одной семьей, соединенной, помимо кровного, еще более крепким духовным родством. Это чувство единения оказывалось сильнее всех прочих имущественных и сословных различий. Житель Московского государства видел в своем соотечественнике, независимо от его социального происхождения, в первую очередь единоверца, соратника в борьбе с окружающим враждебным иноверным миром. Миром, грозящим разрушить традиционный образ жизни и основы дорогостоящему каждому русскому сердцу «пресветлого православия».

С начала XVII столетия начинает формироваться иной принцип внутреннего социального устройства. Становится заметной тенденция к сокращению прав местного самоуправления и личной правоспособности граждан. При первом Романове, царе Михаиле, укрепляется институт воеводского управления. Воеводы заменяют собой земские выборные власти, ставят земские общества под жесткий административный контроль центра.

В отличие от ограниченных полномочий прежнего кормленщика, воевода становится практически самовластным правителем, а «мир» теряет возможности влиять на его действия. Не только прежние поединки «в поле», но простые жалобы становятся трудно исполнимыми. Правительство, отправляя воеводу в город или уезд, предписывало ему единолично на месте поступать по обстоятельствам «как Бог вразумит», не регламентируя границы его власти. Все это немедленно привело к росту злоупотреблений. А поборы с населения, также, в отличие от прежних «кормлений», никак не оговоренные законом, нередко ставили земские общества на грань разорения.

Причиной такой крутой перемены обычно называется тяжелое положение страны после Смуты, необходимость собирания и сосредоточения всех наличных сил государства{22}. И воеводы были призваны исполнять роль своего рода чрезвычайных комиссаров, на месте принимающих трудные решения в непростых условиях.

И все-таки, не отрицая совершенно влияния этого обстоятельства, изучение внутриполитической деятельности первых Романовых оставляет впечатление о них, как о малоспособных правителях, стремившихся решить накопившиеся проблемы самым простым и грубым образом — усилением центральной власти за счет подавления и уничтожения общественных и частных прав.

Авторы статей Соборного Уложения стремятся сохранить и увеличить массу государственных тяглецов — плательщиков налогов и податей в казну. Для этого запрещают выход из тягло под любыми видами и оговаривают случаи насильтенного возвращения в тягло ранее выбывших из него. До этого времени жители Московского государства, в большинстве своем лично свободные, имели возможности менять место и образ жизни, род занятий. Сословные границы не были непреодолимыми. Грамотный крестьянин мог стать государственным чиновником или записаться в стрельцы, а дворянин или сын боярский — пойти в холопы к

знатному человеку, получив за это значительные выгоды, но пропав для государевой службы. Теперь такие переходы серьезно ограничиваются. Происходит прикрепление людей к тому состоянию, в котором их застало Уложение. \* \* \*

Зная о многочисленных внутренних проблемах страны, столкнувшись с недовольством значительной части населения, царь Алексей и его окружение не пытаются устраниć причины недовольства и проблем, а ищут себе надежных союзников — на помощь и поддержку которых можно было бы опереться в будущих социальных затруднениях.

Выбор царским правительством служилого дворянства, как своей опоры, был естественным в тех обстоятельствах.

Дворянство издавна окружало престол, являясь одной из главных военных сил страны, его представители назначались на административные должности. Ошибка состояла в тех средствах, которыми было решено вознаграждать дворян за службу и оплачивать их лояльность власти.

С давних пор существовало два способа для содержания дворянской конницы — раздача поместий и денежное жалованье. Как правило, они дополняли друг друга, причем если наделение поместной землей с крестьянами было обязательным, то деньги всегда служили вспомогательным средством. Но в XVII веке такая архаичная система изжила себя почти повсеместно. Армии большинства стран Европы, и даже в Турции, включая элитные части, содержались на денежные средства, выплачиваемые из казны. В России заметно проявлялась такая же тенденция.

Военные силы Московского государства, по росписям 1651 года, состояли из следующих основных категорий: стрелецких полков 44 486 человек, казачьих отрядов 21 124 человека, драгунов 8107 человек, служилых татар 9113 человек, пушкарей 4245 человек, иноземцев 2707 человек, еще нескольких малочисленных групп и, наконец, дворянской конницы — 39 408 человек. Общая численность московской армии этого времени немного превышала 133 тысячи ратных людей{23}.

Из данных видно, что служилые люди «по отечеству», как именовались дворяне и дети боярские, составляли только около 30% от всего числа вооруженных сил. Во второй половине века, к 1662 году доля дворянского войска в русской армии сократилась до 15%{24}! Вся остальная армия, за редким исключением, вроде «поместных» казаков, стрелецких начальников и т.д., существовала исключительно на денежном жалованье. Но и среди самих дворян немало оказывалось тех, кто получал за службу только деньгами. Далеко не все члены «поместной» конницы были, собственно, помещиками. В ее рядах год от году все увеличивалось число мелкопоместных или вовсе беспоместных дворян. А те, кто обладал «поместьем», часто не имели в нем ни одного крестьянина, так что были вынуждены или сами заниматься сельским трудом, или оставлять земли в запустении.

В наиболее тяжелом положении находилось провинциальное дворянство. По данным дворянского смотра 1675 и 1677 годов, в среднем на каждого из помещиков южных городов приходилось менее одного тяглого двора. Положение в других областях было почти таким же{25}. Имея недостаток средств, «благородные» господа являлись на службу, вооруженные слишком пестро — дедовские и прадедовские кольчуги и сабли с луками имели те, кто еще считался «исправным» воином. Некоторые приходили в полк с рогатинами или вилами, а иные — вовсе безоружными и бесконными.

Единственным средством существования для таких ратников могли быть деньги, но их выплачивали нерегулярно, чаще только в походе, да и то с постоянными задержками.

И вот в таких обстоятельствах правительство, одной из глав Соборного Уложения, окончательно укрепляет крестьян за помещиками. Совершенно очевидно, что никакими

нуждами страны, в том числе военными, это решение объяснить нельзя. Поместная конница составляла едва одну треть всей армии государства, причем ко времени Уложения — далеко не самую боеспособную ее часть. И большинство бедных «помещиков» нуждались в первую очередь в деньгах, а не в землях и крестьянах. Крестьяне также были бедны, и прежде чем получать доход от их труда, им самим следовало оказывать помощь, материальную поддержку, да еще следить, чтобы они не убежали всей деревней к богатому соседу-боярину или на вольные окраины государства. Для разоренных господ и такая благотворительность, и такой контроль были совершенно невыполнимыми задачами.

Прикрепление крестьян было выгодно только довольно немногочисленной группе состоятельных дворян, в основном московских, которые и должны были стать для правительства главной опорой, своего рода полицейским корпусом.

Руководствуясь интересами этой группы и соображениями собственной безопасности, а также в целях утверждения полицейского порядка в государстве, правительство царя Алексея Михайловича создало в России крепостное право. Тем самым оно законодательно и на практике утвердило одну из самых негативных тенденций социального развития страны.

Значения произошедшего, а тем более его последствий, не поняли сразу и не умели предвидеть ни крепостники, ни само правительство. Авторам Соборного Уложения и его современникам показалось бы дурной шуткой, если бы им сказали, что спустя всего чуть более чем полвека русских православных крестьян начнут продавать на рынках русских городов, как скотину, что они потеряют всякую правоспособность и окажутся на своей родине в положении бессловесных рабов, которым запретят под страхом казни даже подавать жалобы на своих господ.

Крепостной крестьянин эпохи Уложения еще не жалкий бесправный изгой времен Российской империи, у которого отнимут вскоре даже право присяги, а член общества. Он защищен законом от посягательств на свою жизнь и честь. Помещик, по вине которого погибал крестьянин (что в XVII веке случалось только как исключение), — подлежал смертной казни<sup>{26}</sup>. Крестьянин еще мог жаловаться на господские притеснения и, в случае подтверждения своего обвинения, получал компенсацию из господского имущества<sup>{27}</sup>.

Но все-таки много признаков говорило за то, что прежнее положение крестьянина, как вольного работника на государственной или частной земле, принципиально и невозвратно изменилось. Собственно, суть прикрепления крестьян по Уложению состояла в том, что глава 11 запрещала им покидать те местности, в которых застала их последняя перепись. Раньше закон разрешал беспрепятственную перемену не только места жительства, но и рода занятий при условии отсутствия каких бы то ни было задолженностей или невыполненных обязательств. Теперь вздумавших уйти свободных людей предписывалось разыскивать и насильно возвращать обратно. Причем если раньше ответственным лицом выступал только глава крестьянского семейства, и только к нему могли быть направлены претензии бывших владельцев и прочие взыскания, то отныне предписывалось возвращать вместе с крестьянами «и их братью, и детей, и племянников, и внучат с женами и с детьми и со всеми животы, и с хлебом стоячим и с молоченым отдавать из бегов тем людем, из-за кого они выбежат, по переписным книгам, без урочных лет».

Отмена «урочных лет» означала, что, в отличие от прежних законов, ограничивавших для владельцев срок, в течение которого они могли разыскивать своих беглых крестьян, отныне такие ограничения отменялись, и беглецы подлежали выдаче в любое время, когда будут найдены господином, пока живы он или их потомки.

Поместье в Московском государстве всегда было пожалованием земли, населенной лично свободными государственными крестьянами, во временное пользование и для содержания человека, несущего военную или гражданскую службу. Даже собственники наследственных

имений — вотчин — были прежде всего владельцами земли, для обработки которой нанимали работников — вольных крестьян, составляя с каждым индивидуальный договор, в котором учитывалось множество условий и взаимных обязательств. В более ранние времена право свободного крестьянского «выхода» от помещика или вотчинника оговаривалось в княжеских грамотах наряду с правом дружинников и бояр оставлять князя и переходить на службу к другому<sup>{28}</sup>. После Уложения 1649 года прежние землевладельцы все отчетливее начинают превращаться в душевладельцев, полновластных распорядителей уже не только трудом, но и жизнью своих работников, которых застали на их землях государевы писцы. Ни точные обязанности крепостных своим владельцам, ни пределы помещичьей власти не были четко определены законом, открывая тем самым возможности для безграничного господского произвола.

Уложение царя Алексея, декларируя надсословность и справедливое отношение ко всем жителям государства, в действительности прямо нарушило права большинства граждан и произвело настоящий государственный переворот, последствия которого проявились во всей полноте спустя несколько десятилетий — в начале следующего столетия.

## ГЛАВА 3

В середине века, почти одновременно с закрепощением крестьян, в Московском государстве произошла еще одна реформа, на этот раз в области церковной жизни. Она также имела серьезные негативные последствия, которых, как представляется, не ожидали и не предвидели ее создатели. Результатом произведенных тогда преобразований стало значительное повреждение основ русского Православия, насчитывавших к тому времени почти семьсот лет.

Масштаб перемен, духовных и социальных последствий был столь значительным, что этот период заставляет вновь и вновь обращаться к нему все новые поколения исследователей. И каждый раз первой реакцией не может не быть крайнее изумление от того, что трагическая так называемая «церковная реформа» — возникла, как кажется, совершенно на пустом месте, не была вызвана никакой практической необходимостью. С точки зрения человека пострелигиозной эпохи она вообще вся была редакторской формальностью, состояла в некотором изменении богослужебных текстов и церковных обрядов. Наконец, для самих реформаторов была делом второстепенным, техническим средством для достижения гораздо более серьезных целей.

И тем не менее именно эта реформа, или «книжная справа» патриарха Никона, как называли ее современники, вошла в число важнейших событий российской истории, оказавших решающее значение на дальнейшие судьбы государства и народа.

Произошедшая за один год, в указанном порядке, перемена древней обрядности в иных случаях и в других странах если и случалась, то происходила в течение столетий! Время, а не правительственный или архиерейский приказ утверждало необходимость изменений. Неудивительно, что очевидцам реформы она показалась настоящим наваждением. Страшным сном представилась действительность, когда православный царь, патриарх, виднейшие вельможи и епископы принялись вдруг проклинать обряды и уставы собственной Церкви, которым с благоговением поклонялись еще вчера, благодаря которым спасались отцы, деды и прадеды. От религиозного ужаса и отчаяния у русских людей «озябло сердце», как писал о своих переживаниях и чувствах большинства православных христиан протопоп Аввакум.

Учитывая огромное значение церковной реформы для будущего страны, тем удивительнее осознавать, что вся «книжная справа», приведшая к расколу в русском Православии, была замыслом всего двух человек — одному из которых, царю Алексею, к тому времени исполнилось едва 22 года. А личность другого, могущественного патриарха Московского и всей Руси Никона, и спустя столетия после его деятельности окружена мрачным и загадочным ореолом.

Он появился словно ниоткуда, из игуменов маленьского бывшего монастыря на Русском Севере в несколько лет сделал сказочную карьеру, стал патриархом, другом и соправителем царя, и так же внезапно исчез из Москвы, из жизни, из истории. Как будто какая-то сила вытолкнула этого человека из небытия для совершения одной определенной задачи, для которой он только и был нужен, оставив нереализованными все остальные его личные честолюбивые замыслы и грандиозные планы.

Вопреки своим поздним утверждениям — «я русский и сын русского!» -- Никон родился в семье обрусевшего мордовского крестьянина в селе Вальдеманово, недалеко от Нижнего Новгорода. С раннего времени в Никите Минове, таким было его мирское имя, проявился сильный характер и неукротимый нрав. Совсем юным он оставляет родительский дом из-за раздоров с мачехой. Не тратя времени на пустые развлечения, не по возрасту серьезный и целеустремленный, Никита живет в монастыре, где обучается грамоте. После этого он находит себе место сельского попа, женится. Молодой священник, темпераментный, богатырского сложения, ревностный к служению, становится известным далеко за пределами своего прихода. Вскоре московские купцы, познакомившись с ним, приглашают Никиту в столицу, где он получает новый приход.

Замечательная и редкая карьера для провинциального батюшки, открывающая, казалось бы, далеко идущие перспективы. Но судьба всегда резко и неожиданно вмешивалась в жизнь будущего патриарха, а он сам часто бывал еще более резок и крут. От эпидемии чумы одновременно умирают три его маленьких сына. И тогда Никита решает в корне изменить свою прежнюю жизнь. Он уговаривает жену постричься в монахини в одной из московских обителей, а сам отправляется далеко на север и там, в небольшом бедном монастыре, принимает обет иночества и новое имя — Никон.

Первые годы его монашеской жизни прошли под духовным руководством Елеазара Анзерского, впоследствии причисленного к лику святых, который был основателем и настоятелем обители. Никон сразу выделился из среды братии своим аскетизмом, волей и при этом недюжинными административными способностями. Спустя короткое время он становится правой рукой Елеазара, его доверенным лицом. Вместе они отправляются в Москву, где их принимает царь Михаил. Московские правители считали своей обязанностью помогать монастырям, особенно вновь основанным, нуждавшимся в самом необходимом. Обратно в свою обитель, затерянную у берегов Белого моря, инохи Елеазар и Никон вернулись с щедрыми дарами.

Новый визит в Москву, представление царю, а, возможно, и будущему наследнику, царевичу Алексею, благожелательное впечатление, произведенное на знатных вельмож, — казалось бы, это начало нового витка столичной карьеры Никона, так круто оставленной им раньше. Но и на этот раз неукротимый монах рушит все в один миг и срывается с места в никуда.

В Анзерском скиту Никон ссорится с Елеазаром по поводу способов траты привезенных из Москвы средств. Честолюбие и тщеславие, склонность к внешнему блеску всегда удивительным образом уживались в нем с глубоким, по-видимому искренним, аскетизмом.

Никон настаивал на начале строительства обширного каменного храма, мечтая сделать скромный монастырь центром дикого края, а Елеазар считал это искущением, боялся известности, которая может помешать духовному сосредоточению, хотел оставить все как

есть. Произошел конфликт, и обиженный Никон ушел из обители прочь.

Не боясь плохой погоды, он уговорил какого-то рыбака переправить его с острова, где располагался Анзерский скит, на материк. Они отправились в путь, несмотря на начинавшийся шторм. Эта поездка едва не стала последней для Никона — волны разбили лодку, и люди спаслись чудом. Дав обет построить на месте своего спасения обитель, впоследствии выполненный, Никон, в то время просто бесприютный монах, отправился подыскивать себе крышу над головой.

Странствия привели его в расположенный на берегу Белого моря небольшой Кожозерский монастырь. Здесь он прожил несколько лет бесконфликтно, занимаясь укрощением плоти. Он носил, не снимая ни днем ни ночью, тяжелые вериги, соответствующие его атлетическому сложению, ежедневно клал огромное число земных поклонов и налагал на себя множество других серьезных испытаний.

Он имел такой авторитет среди братии, что монахи выбрали Никона своим настоятелем. Вскоре, по делам своей новой обители, Никон опять приехал в Москву и уже не вернулся обратно к холодным берегам Белого моря. Новый царь, шестнадцатилетний Алексей, очарованный мужеством и властным обаянием, исходящим от Кожозерского игумена, оставил его при себе.

Почти сразу, в 1646 году, Никон делается архимандритом одного из самых значительных московских монастырей — Ново-Спасского, родовой обители Романовых. А спустя три года происходит совершенно невозможное и небывалое раньше — недавний монах безвестного беломорского скита получает сан Новгородского митрополита и возглавляет древнейшую, обширную и первостепенную по своему значению епархию.

Назначение Никона Новгородским митрополитом произошло благодаря желанию покровительствовавшего ему молодого царя. Но немалую роль в таком стремительном карьерном взлете имели и приобретенные им знакомства в Москве.

При дворе Никон, как новый государев «собинный друг», близко сходится с греческими иерархами, приезжавшими в русскую столицу за «милостыней». Московское правительство постоянно принимало у себя многочисленных выходцев с православного Востока — с Балкан, из Антиохии, Александрии, Палестины и проч. Материальная помощь нуждавшимся собратьям по православной вере была одной из плановых статей расхода государственного бюджета, и достаточно значительных. Каждый из заезжих митрополитов или патриархов получал нередко по несколько тысяч рублей[6].

При начале придворной карьеры Никона, в бытность его еще Новоспасским архимандритом, в Москве гостил иерусалимский патриарх Паисий. Он близко сошелся с новым царским любимцем и, когда пришло время, замолвил и свое слово за назначение Никона на новгородскую митрополию. Но важнее всякой протекции было то интеллектуальное и эмоциональное воздействие, которое оказал Паисий на своего приятеля. Об этом влиянии писал С. А. Зеньковский, отмечая, что Никон был буквально очарован беседами с греком[7].

Никон обладал огромным темпераментом, был сильным и властным, легко увлекающимся человеком и в достижении цели не считающимся ни с какими трудностями, ни с чьим авторитетом. Достаточно вспомнить его слова, сказанные в пылу спора с Иваном Нероновым, попытавшимся найти себе защиту в имени и мнении царя. Патриарх во всеуслышание заявил тогда, что он «плюет и сморкает» на то, что думает царь.

Но при таких личных качествах Никон был почти необразован, едва умел читать и писать, а его жизненный опыт, кроме короткого служения священником и пребывания в Москве, ограничивался стенами глухих северных скитов, откуда судьба неожиданно забросила его в архимандриты столичного монастыря и за царский обеденный стол, где сделала

собеседником вселенских патриархов.

Между тем положение дел в греческой церкви и на православном Востоке вообще было тяжелым. Проблемы создавало не столько турецкое правительство, достаточно лояльно относившееся к своим христианским подданным, сколько отсутствие твердой позиции в среде высшей иерархии. Вся она была пронизана интригами и корыстолюбием.

Политика мусульман по отношению к иноверцам заключалась в предоставлении им большой степени самостоятельности. Немусульманское население сultanата объединялось в несколько автономных административных образований, именовавшихся «миллетами». Православные жители Османской империи входили в «руммиллети», т.е. византийский миллет.

Внутренняя жизнь христианских общин, при условии признания ими верховной власти султана и уплаты подушной подати в казну, была достаточно свободной и приближалась к форме существования независимого «церковно-конфессионального государства», обладавшего полным суверенитетом{29}.

Весьма значительной была роль главы такого миллета, миллет-бashi — как правило, представителя духовной иерархии. Пост миллет-бashi в «рум-миллети» занимал константинопольский патриарх. Он распоряжался казной общины, контролировал сбор налогов, имел право судить и заключать виновных в тюрьму, а также множество других полномочий, гарантируемых и охраняемых законами Османской империи.

Греческие патриархи не умели пользоваться предоставленной им свободой и властью бескорыстно и во благо своих единоверцев. Положение духовного лидера сулило множество материальных преимуществ, и потому борьба за место патриарха была часто непримиримой и жестокой. Московский монах Арсений Суханов, на личном опыте познакомившись с обычаями «цареградской» иерархии, прямо упрекал греков: «Патриархов своих давите сами, а иных в воду сажаете, и ныне в Константинополе четыре патриарха...»

Сам константинопольский патриарх Парфений писал царю Алексею Михайловичу о происходящем в греческом православии: «В нынешнее время учинилась великая смута и колебание, частые перемены патриархам и иное многое зло, а отписать Вам о том... невозможно. Если бы я написал, то святое Ваше царствие слушать того бы не изволило».

Борьбой за власть среди православных иерархов Османской империи спешили воспользоваться европейские политики, агенты разных королевских дворов и правительств в Стамбуле. Кончилось тем, что представители протестантских стран поддерживали своего кандидата на вселенский патриарший престол, а католики — другого. Так, «протестантский» патриарх Кирилл Лукарис семь раз за свою карьеру (1612—1638) терял и вновь обретал престол, а его основной конкурент «католик» Контарис — три раза. Чуть более чем за полвека (с 1595 по 1657 год) на патриаршем престоле «рум-миллети» чаще сорока раз сменились хозяева{30}.

Хуже всего было то, что это противостояние отражалось на содержании греческих богослужебных книг. Искренне, или в качестве платы за поддержку, православные кандидаты протестантской или католической сторон усваивали сами и приучали паству к иноверческим канонам и текстам. В 1628 году вышел катехизис под редакцией патриарха Лукариса, «в котором он излагал свои взгляды на веру в строгом кальвинистском духе... — писал С.А. Зеньковский. — Дурхэмский епископ Мортон даже обратился с призывом к лютеранам, советуя им “по примеру православного патриарха” присоединиться к кальвинизму»{31}.

О происходящем в греческой церкви и на православном Востоке знали в Москве. Греки давно, со времен Флорентийской унии, не имели духовного авторитета в глазах русских православных людей. Были известны их «шатания» в вере, богословские и канонические

погрешности, вызванные тем, что все греческие богослужебные книги, за неимением собственных типографий и средств, печатались в западных странах, выходили из рук и под редакцией иноверцев. Знали о вражде между иерархами и борьбе между ними за власть и деньги.

Серьезной проблемой стало появление в России многочисленных авантюристов-самозванцев с православного Востока, по разным причинам отстраненным от духовной власти, но приезжавших за «милостыней» и выдававших себя за настоящих патриархов и митрополитов. Дошло до того, что специальными указами из Москвы было велено задерживать называвшихся восточными иерархами на границе, впредь до проверки их ставленных грамот и подтверждения истинного звания и личности.

Но еще более распространенным способом мошенничества со стороны греческих архиереев был набор ими в свою свиту множества случайных людей, выдаваемых за священников или родственников. Делалось это для того, чтобы все они получали щедрые подарки от московского правительства и немалую часть из них отдавали главе делегации в качестве платы за право приехать в Россию «подкормиться».

В Москве принимали алчных путешественников, хотя и относились к ним с недоверием. Как ни жалки были современные греки, как ни отличались они от прежних великих «ромеев», граждан града Константина, они представляли собой в глазах христиан всего мира зримую связь русского православия с православием вселенским, напоминали о том, что московское благочестие имеет не доморощенный характер, а глубокие и древние христианские корни.

Кому-то из заезжих гостей, одаренному более богатым воображением или наделенному большими амбициями, возможно, и Паисию иерусалимскому[8], первому пришла мысль не довольствоватьсь «милостыней», а предложить русским величественный проект воссоздания всеправославной империи, новой Византии, только на этот раз во главе с Москвой.

К тому времени, несмотря на серьезные внутренние экономические и социальные проблемы, правительство Алексея Михайловича все активнее втягивается в круг внешнеполитических вопросов, союзов и противоречий, затрагивавших интересы разных стран. Одним из самых насущных был вопрос о вхождении Украины в состав Московского государства.

Жители южнорусских областей давно и настойчиво просили царя принять их под свою руку, и обязательства, налагаемые осознанием кровной и религиозной близости, требовали от Алексея дать положительный ответ на эти мольбы. Но согласие означало новую войну с Польшей. Царь и его советники колебались.

Не исключено, что появившийся тогда «византийский» проект сильно укрепил решимость московского правительства начать войну. Перспектива расширения пределов православного царства до границ Второго Рима времен его расцвета придавала новый смысл присоединению Украины как первому шагу на этом пути. Одновременно с этим сама польская война, на фоне предстоящих колоссальных перемен, могла казаться не такой уж и страшной.

Больше всего новой идеей освобождения Царьграда и объединения всех православных христиан оказались увлечены молодой царь и его «собинный друг», Никон.

Двадцатидвухлетний Алексей всерьез и с удовольствием вошел в роль василевса, свободителя единоверцев во всем мире. Царь так серьезно отнесся к своему неминуемому переезду на берега Босфора, что его сильно беспокоило незнание языка своих будущих подданных. Как человек не слишком способный к изучению иностранных языков, Алексей Михайлович нашел замечательное решение проблемы. Однажды за обедом, принимая у себя Антиохийского патриарха Макария, царь просил его молиться Богу, «как Василий Великий молился за Ефрема Сириня, и тот стал понимать по-гречески». Так бы и ему, царю, молитвами благочестивого антиохийца «уразуметь этот язык».

В другой раз, встречая делегацию греков из турецкого «рум-миллети», молодой русский царь, не без театральности, пообещал не пожалеть для спасения страждущих под иноверным игом христиан никаких усилий: «Я принял на себя обязательство, что если Богу угодно, я принесу в жертву свое войско, казну и даже кровь свою для их избавления».

Но страстный и неукротимый Никон оказался увлечен соблазнительным проектом еще сильнее, чем обладавший менее ярким темпераментом Алексей Михайлович. Такому человеку, как «ловкий и блестящий» Паисий, нетрудно было подчинить полудикого, но страстного бывшего лесного игумена своему влиянию. Иерусалимский патриарх, в свою очередь, видел, что «Московия» — обширная и богатая страна, а «московиты» — энергичные и сильные люди, искренне преданные православию. Вряд ли он сам верил в реальность осуществления проекта воссоздания новой «Византии» во главе с Москвой. Но в качестве обильного и надежного источника финансирования такая идея была превосходной.

Никон забыл о своих собственных сомнениях в греческом благочестии, о недоверии к льстивым и корыстным иерархам-авантюристам. Ведь он сам несколькими годами ранее, только войдя в круг близких к царю людей, состоявших тогда из строгих ревнителей православной веры, вслед за ними убежденно говорил: «Греки да малороссы потеряли веру, и добрых нравов у них нет».

Теперь он смотрел на них совершенно иначе. Причем серьезные перемены произошли не только во взглядах, но и в положении царского любимца. Продолжался фантастический рост его церковной карьеры. Только назначенный архимандритом Новоспасского монастыря в 1646-м, он уже в 1649-м становится новгородским митрополитом. Однако, не успев пробыть на митрополии и трех лет, в 1652 году Никон достигает вершины духовной власти — получает сан патриарха Московского и всея Руси.

Казалось, перед ним открывалась широкая дорога к заветной цели — возглавлению не только московской церкви, но и вселенского православия. \* \* \*

Дальнейшие действия Никона привели к столь тяжелым последствиям для развития русской духовной и общественной жизни, что краски, которыми описывают его личность, нередко сгущаются до черноты, а личность этого патриарха слишком упрощается. В действительности Никон был, без сомнения, сильно верующим человеком, при этом, как уже отмечалось, обладавшим множеством способностей и сильной волей. По-видимому, несмотря на всю властность и бескрайнее честолюбие, он искренне был увлечен задачей укрепления православия. Его нельзя считать, конечно, и заурядным карьеристом-выскочкой, тщеславным властолюбцем. Неограниченная власть и полномочия нужны были ему в первую очередь как средство для воплощения своих целей по очищению и возрождению веры. Этот сын мордовского крестьянина имел удивительную широту взглядов и смелость для их воплощения. Но все положительные задатки и свойства были в нем развиты с такой чрезмерностью, что приобретали зачастую противоположные свойства. Отрицательному результату способствовала и необразованность патриарха, его склонность действовать скорее и решительнее, чем обдумывать свои поступки.

Короткое время патриаршества Никона стало началом серьезных и драматических перемен в русском обществе. Однако прежде, чем говорить о них, необходимо рассмотреть содержание и ход никоновской «книжной справы» — единственного практического свершения патриарха.

Из всех своих замыслов Никону удалось осуществить только обрядовую реформу русской Церкви. Но по ряду причин политического и идеологического свойства она превратилась в одну из самых изолганных и малоизвестных тем русской истории. Трудно представить себе, сколько небылиц и прямой лжи было написано историками и представителями «официальной» церкви об этом событии, и продолжает писаться и говориться. Проблема освещения Раскола в научной литературе требует отдельного исследования, результаты

которого принесут много недоумений и разочарований в добросовестности и компетентности известных деятелей науки, но еще более — тревоги от постоянного и весьма жесткого вмешательства государственной цензуры в России в содержание работ, посвященных острым событиям прошлого.

Рисуя перед Никоном, тогда еще архимандритом Новоспасского монастыря, заманчивые картины будущего объединения вселенского православия под его рукой, Паисий Иерусалимский указал на разницу в некоторых обрядах, принятых в Московском государстве и на христианском Востоке. Причем греческой стороной отличия представлялись как искажение именно «московитами» древних обрядов, как нарушение ими благочестивых наставлений святых отцов Церкви. Среди практических «отступлений» указывалось русское двоеперстие при крестном знамении, текст некоторых молитв, хождение при крестном ходе по солнцу, а не против, и проч.

В пользу утверждений патриарха Паисия свидетельствовало действительно повсеместное распространение троеперстия и других обрядов, отличных от принятых в русской Церкви, на всем православном Востоке, от Красного моря до Балкан. Кроме того, троеперстие было принято и среди православных Малороссии, и у белоруссов.

Московская православная обрядность оказывалась в своего рода изоляции, в одиночестве. И если раньше на эту разницу смотрели как на достоинство русской Церкви, практическое доказательство ее духовного отличия от «пошатнувшихся в вере» единоверцев из других стран, то сейчас взгляды некоторых людей изменились. В новых политических обстоятельствах, при ожидаемом принятии южнорусских областей в подданство Москвы и в перспективе войны за «византийское наследство», царю Алексею и особенно Никону обрядовые отличия стали казаться возможной помехой в практическом осуществлении грандиозных планов.

Изменения во внешней обрядности были только частью реформы. Другую значительную ее часть составляло «исправление» русских богослужебных книг. Задача состояла в редактировании их содержания для того, чтобы исключить все отличия от канонических текстов. Эта работа началась задолго до Никона и, пожалуй, не прекращалась никогда. Справщики книг при московских патриархах, и еще раньше — при митрополитах, внимательно следили за содержанием служебников, старались вовремя устранять из них вкравшиеся ошибки. Но, конечно, ограниченные технические возможности справщиков, распространенность рукописных книг, переписывавшихся по многочисленным монастырям, не позволяли осуществлять полный контроль и открывали путь для появления некоторых неточностей, хотя по большей части и незначительных.

Тем не менее необходимость редакции богослужебных текстов, создание единого исправленного образца для дальнейшей печати в московской типографии не вызывали споров и сомнений. Вопрос состоял только в том — с чем, с каким источником сверять исправляемые тексты?

Было решено взять за основание древние греческие и древние русские книги. За ними отправились из Москвы в библиотеки ближних и дальних монастырей. Была снаряжена экспедиция заграницу — монах Арсений Суханов обогнал значительную часть православного Востока — от Египта до Константинополя, собрав много старинных книг. Всего в хранилище Печатного двора было свезено более двух с половиной тысяч изданий, относящихся к разному времени.

Вступление Никона на патриарший престол летом 1652 года сопровождалось торжественной и необычной клятвой, принесенной ему собором и царем. После своего соборного избрания Никон долго отказывался от предложенной ему высокой чести, несмотря на то что сам царь с боярами, стоя на коленях в Успенском соборе, умоляли его принять управление

вдовствующей Церковью.

В поведении нового патриарха можно заметить следы давней традиции, когда такой отказ считался формальным проявлением пристойной скромности, но было в нем и еще кое-что, очень важное. Никон ощущал себя призванным осуществить дело возрождения и объединения православия, готовил для этого серьезные перемены в сложившейся церковной практике, а потому хотел исключительных полномочий.

«Если обещаетесь слушать меня, как вашего главного архипастыря и отца во всем, что буду возвещать вам о доктринах Божиих и о правилах, если дадите мне устроить церковь, то я по вашему желанию и прошению не стану более отрекаться от великого архиерейства» — так сказал Никон, обращаясь к царю и собору. И в ответ получил требуемое единогласное и смиренное обещание.

Дальнейшие события развивались стремительно и неожиданно. В феврале следующего, 1653 года, вышла свежеотпечатанная Псалтирь, из которой по указанию патриарха Никона были исключены прежде традиционные упоминания о двосперстной форме крестного знамения и земных поклонах. И сразу вслед за этим, на первой неделе Великого поста, по московским церквям была разослана «память», иначе говоря распоряжение патриарха: «По преданию святых апостол и святых отец не подобает во церкви метания творити по колену, но в пояс бы вам творити поклоны, еще и тремя персты бы есте крестились...»

«Память» действительно поразила все общество. С. Зеньковский справедливо писал об этом: «Никон вряд ли хорошо обдумал свой первый ход в ряде намеченных обрядовых нововведений. Изменение такой важной части православного обряда, как крестное знамение, личным, ничем не мотивированным циркуляром, при этом в общих выражениях — “по преданию святых апостолов и святых отец”, было чем-то неслыханным в анналах не только русской, но и вообще христианской церкви. Даже теперь, когда обряд и религия играют гораздо меньшую роль в жизни народов, изменение крестного знамения католическим епископом или самим папой, или патриархом православной церкви представляется немыслимым»{32}.

Одним росчерком пера новый патриарх единолично, вопреки канонам отменял главнейшие церковные обряды, освященные семью веками русской церковной традиции и, кроме того, утвержденные решением Стоглавого собора 1551 года.

В намерения патриарха полностью, как кажется, не был посвящен даже царь. По крайней мере, по требованию близких людей из своего окружения, среди которых были протопопы Иван Неронов, Аввакум, царский духовный отец Стефан Вениифатьев, Алексей Михайлович настоял на том, чтобы Никон несколько приостановил свои преобразования.

Патриарх прислушался к просьбе царя и не стал настаивать на немедленном исполнении своей «памяти». Осознав необходимость более серьезной и тщательной подготовки для наступления на старый церковный устав, он решил изменить тактику.

Весь следующий год он посвятил тому, чтобы удалить из Москвы своих противников, настроенных наиболее непримиримо, а также подготовке очередного церковного собора. Весной 1654 года, когда Неронов, Аввакум и еще несколько защитников древнего благочестия отправились в ссылку, в Москве был созван новый собор.

Патриарх предложил на его рассмотрение вопрос: нуждаются ли в правке некоторые тексты русских богослужебных книг, и если да, то по каким образцам их следует исправлять — по старым ли греческим книгам и древнерусским спискам, или по новым греческим?

Собор поддержал необходимость исправлений и приговорил проводить их в соответствии с древними греческими и русскими текстами. Патриарх обещал исполнить волю собора.

В следующем, 1655 году из печати вышел новый Служебник — сборник богослужебных текстов и руководств к совершению богослужений. В его содержании, по сравнению с прежними изданиями, нашлось множество важных изменений, представленных редакторами как возвращение к первоначальным каноническим источникам. Но в действительности все имевшиеся в нем ссылки на авторитет древних греческих и русских текстов, как убедительно доказали авторы позднейших научных исследований, были «просто сознательной неправдой»{33}.

Весь этот Служебник был отредактирован справщиками Никона на основе греческого Служебника, изданного в Венеции в 1602 году и присланного Никону в дар иерусалимским патриархом Паисием. Книга, ставшая образцом для никоновской «справы», не имела никакого отношения к старым текстам и отражала в себе практику новогреческой церкви.

Затеянная патриархом очередная атака на старинный русский церковный устав должна была окончательно сбить с толку и без того обескураженных нововведениями соотечественников. Зимой 1656 года Никон принимал в Москве двух восточных патриархов — Макария антиохийского и Гавриила сербского. С их помощью он решил бесповоротно утвердить новый обряд.

Снова в самом начале Великого поста, как и в 1653 году, после литургии в Неделю православия, когда по традиции церковь вспоминает и празднует торжество над всеми ерсями, московский патриарх решил всенародно предать проклятию семь веков истории и славы русского православия. Роли были распределены заранее, и гости-патриархи, приехавшие за «милостыней», послушно следовали указаниям Никона. Только вселенский антиохийский патриарх Макарий, почти совершенно не разбиравшийся тогда в существе происходящего, но успевший изучить и понять натуру Никона, тревожно говорил своим спутникам: «Бог да даст ему чувство меры...»

Патриархи Макарий и Гавриил поочередно выходили перед собравшимся в Успенском соборе народом. Сложив три пальца правой руки по-гречески, «щепотью» — тем самым показав на себе троеперстное крестное знамение, — они свидетельствовали, что именно так должен осенять себя каждый православный христианин, потому что, по их заявлениям, только такое перстосложение является истинным и спасительным. А тот, кто дерзает креститься иначе, тем паче двоеперстно — тот еретик и противник святой церкви. Всякий, осеняющий себя двоеперстно, «да будет проклят» — возгласили перед растерянным и ужаснувшимся русским народом заезжие патриархи, чувствуя на своих спинах пристальный взгляд властного Никона.

Московский патриарх лучше кого бы то ни было знал, что все звучащие с амвона Успенского собора проклятия и обличения являются фарсом, вызваны недуховной необходимостью борьбы с ерсью, а политическим расчетом. У него хранилось недавно полученное им письмо от константинопольского патриарха. Признанный первоиерарх православного мира обращался к Никону со словами увещевания и предостережения. Подобно Макарию антиохийскому, он почувствовал в главе русской патриархии человека крайних мер и безудержных порывов. В ответ на беспокойные вопросы Никона о допустимости обрядового многообразия в той или иной поместной церкви, патриарх Константинополя убеждал его не придавать значения разнице во внешних обрядах, которые могут отличаться друг от друга в зависимости от местных традиций и прочих особенностей.

Но подобные благопожелания не могли удовлетворить деятельного Никона, а дипломатичный грек не умел и не мог предоставить более убедительных доказательств.

Православные христиане были подавлены происходящим на их глазах. Они отказывались верить, что церковный устав, по которому жили их деды и прадеды, который утверждали прославленные святые, защищали великие князья и цари — всего лишь ересь, достойная

проклятия!

Время доказало их правоту, хотя долгое время это всенародное отчаяние историками и миссионерами официальной церкви преподносилось как пример безграмотности и дикости граждан Московского царства. Высмеивалась их преданность «пустому обряду», который был якобы следствием ошибок невежественных переписчиков русских богослужебных книг. И только объективные исследования проблемы, появившиеся с конца XIX века, позволили разобраться в существе произведенных преобразований[9].

Из-за длительного грубого искажения фактов и недобросовестного освещения событий, содержание «книжной справы» кажется запутанным и неясным. На самом деле фактическая сторона церковной реформы прослеживается совершенно четко. Она состояла в существенном изменении нескольких важнейших обрядов и молитв, а также во множестве более мелких вмешательств в древние богослужебные тексты и особенности совершения богослужений.

Существует немало работ, в которых изложены произведенные реформаторами текстовые правки и приведены отличия введенных обрядов от прежних, поэтому здесь нет необходимости в подробностях повторять их содержание[10]. Для темы нашей книги важно обратить внимание на некоторые принципиальные моменты реформы.

Из наиболее важных новшеств было введение троеперстия — крестного знамения тремя пальцами правой руки, вместо прежнего двоеперстного.

Между тем двоеперстие представляет собой одно из древнейших символических выражений христианской веры и наполнено глубоким смыслом. На самом деле это скорее пятиперстие, поскольку каждый палец в нем имеет свое предназначение. Указательный и средний изображают два естества Спасителя — первый человеческую суть Христа, а второй — Божественную. Средний палец должен быть немного присогнут в верхнем суставе в знак того, что «Сын Божий приклонь небеса и снide на землю». Как писал в XII веке священномученик Петр Дамаскин: «Два перста и едина рука являют распятого Господа нашего Иисуса Христа в двух естествах и единой ипостаси познаваемого». Большой палец, безымянный и мизинец в двуперстии символизируют собой Святую Троицу. При этом само крестное знамение кладется только двумя перстами, указательным и средним, выражая собой суть христианства, веру в Христа — распятого на кресте Бога, сшедшего с небес и родившегося человеком для искупления людских грехов, принявшего ради этого смертные муки и воскресшего, своим воскресением победив смерть и даровав роду человеческому надежду на душевное спасение и вечную жизнь.

Каноническое происхождение и древность двоеперстия убедительно доказаны академическими исследованиями, но оно вряд ли когда-либо нуждалось в этом. Достаточно зайти в любой храм или музей, где сохранились старинные иконы, не испорченные поздними вмешательствами и исправлениями, чтобы убедиться в том, что на всех них без исключения изображено именно двоеперстное крестное знамение.

Двуперстно благословляют или крестятся святые апостолы и мученики за веру на иконах из Византии, Сирии, Александрии и Египта, на фресках со стен римских катакомб.

Троеперстие было относительно новым обрядом. Оно начинает распространяться в Палестине и вообще на православном Востоке с XIII—XIV веков. Его происхождение, так же как и причины, по которым оно вытеснило двоеперстие, до сих пор остаются неясными. Не очевиден и символический смысл троеперстия. В частности, Никон, давая распоряжение о введении нового способа крестного знамения, разъяснял, что три пальца в нем, большой, указательный и средний, соединенные вместе, обозначают Троицу. При этом остальные два пальца он приказывал оставлять без всякого применения «праздными».

Впоследствии это толкование было исправлено, и «праздным» прежде мизинцу и безымянному пальцу приписали символическое значение человеческой и божественной природы Христа. Но случилось это позднее, скорее всего, после активных споров со старообрядцами и очевидным невыгодным для троеперстия сравнением с символически безупречным двуперстием.

В Московском государстве отлично знали о древности своего крестного знамения. Наставления о том, как необходимо слагать персты, помещались в предисловия к текстам важнейших богослужебных книг. С XV века на Русь, в результате контактов с греческой церковью, проникает обычай троеперстия, но широкого распространения не получает. Постановлением Стоглавого собора двуперстное крестное знамение было утверждено как единственно возможное и спасительное для православных христиан.

Со времени никоновских преобразований споры между представителями реформированной церкви и сторонниками древлеправославного благочестия о преимуществе одного или другого перстосложения не утихали на протяжении нескольких столетий. Но наиболее четко существование разногласий и аргументов сторон было выражено еще за несколько лет до начала реформы в знаменитых «Прениях с греками о вере» старца Троицесергиева монастыря Арсения Суханова.

После того как патриарх Паисий иерусалимский указал Никону на различия в русских и греческих обрядах, из Москвы в Константинополь был отправлен сведущий в богослужебных книгах инок Арсений, для того чтобы изучить внутреннюю жизнь и обычай православных восточных церквей. В 1649 и 1650 годах Суханов побывал в молдавских землях и на Афоне. В Яссах он встречался с проживавшим там временно иерусалимским патриархом Паисием и имел с ним, а также еще с другими восточными иерархами несколько бесед-диспутов на тему обрядовых разногласий между русскими и греками. В этих беседах замечательно ясно выражена вся аргументация и твердость позиции защитников древнерусской церковной традиции и в то же время со всей очевидностью проявляется удивительная беспомощность греческой стороны обосновать и защитить свои собственные обряды.

Дискуссию с московским начетчиком начал сам иерусалимский патриарх[11]. Сложив три пальца правой руки, большой, средний и указательный вместе, он спросил собеседника: «Арсение! Тако ли вы креститесь?» Троицкий монах в ответ показал двоеперстное перстосложение. Отметая последовавшие упреки Паисия, Суханов соспался не только на авторитет всей русской церковной старины, но и на мнение старых греческих патриархов, приезжавших на Русь и никогда не находивших в местных обрядах чего-либо предосудительного. В свою очередь он спросил: «Скажите ми вы от писания: где то написано, чтоб но вашему сложению велено креститися?»

Этот простой вопрос поставил в серьезное затруднение патриарха и его помощников, среди которых присутствовали митрополит Мелетий Браиловский, два архимандрита, много священников и монахов. Они попробовали сослаться на некоторые сочинения поздних писателей. Суханов возразил на это, что странно опираться на мнения малоизвестных авторов, не прославленных ни благочестием, ни чудесами, живших много после семи Вселенских соборов. Греки поневоле должны были признать правоту москвича. Один из них сказал, что действительно, хотя они и чрут упомянутые книги, но кто их автор «и где, и в кое время и каково его житие было, того мы не ведаем все и писания о том у нас нету...»

Суханов настаивал на том, чтобы ему были представлены убедительные доказательства канонического происхождения троеперстия. Паисий пробовал сослаться на авторитет Иоанна Златоуста. Арсений сказал на это: «“добро есть, будет Иван Златоустыи писал. Я рад слушать; покажите ми”. И патриарх послал по Златоустову книгу. И как принесли книгу Ивана Златоустаго... печатана в Венеции, и в Златоустове книге сыскали, писано глохо: повелевает крестообразно креститися, а как персты складать, — и того ничего не писано. — И тут греки

своего оправдания ничего не сыскали».

Дело принимало неприятный оборот. В смущении и раздражении патриарх Паисий спросил старца: «Арсение! Да как то толкуется, как ты складаешь свою руку?»

Арсений говорил: «Великий, и малый, да третий, что подле малого, то мы исповедуем единого Бога в Троицы; а два перста вышний и средний великий, — то признаваем два естества Христова божество и человечество; а еже средний великий перст мало наклонен, — то исповедуется, еже Сын Божий преклонь небеса, и сниде на землю и бысть человек нас ради. Також писал и древний во святых отцах блаженный Феодорит; тем же крестом и Мелетии патриарх Антиохийский чудо сотвори и еретиков посрами; потом же, последуючи им, и Максим грек пишет тако ж».

Паисий вновь показал свое триперстие и заявил, что и греки тремя перстами знаменуют образ Святой Троицы.

Суханов возразил: «Владыко святыи! И у нас есть три перста во образ пресвятыя Троицы, да не те, которые ты складаешь; только мы крест Христов воображаем теми персты, которые значат два естества Христова — божество и человечество и снятие с небес на землю. Понеж на кресте страдал един Сын Божий, а не Троица, то мы теми персты и крест Христов, сиречь страсти его, знаменуем, а не теми треми персты, которые пресвятыя Троицы (образ) значат».

В заключение своих слов троицкий монах снова попросил собеседников объяснить, откуда и на основании каких канонических правил они приняли у себя троеперстие. После долгих пререканий один из помощников Паисия, архимандрит Филимон признал: «Нигде того у нас не писано, но мы сами так изначала прияли креститися».

Старец Арсений возразил на это: «Истиину ты рек, что вы сами так изначала прияли, а не по святых отец преданию. Есть ли бы вы но святых отец преданию и по апостольскому благовестию ходили, то бы вы крестились рукою по преданию блаженного Феодорита и Мелетия Антиохийского; а в крещении погружались бы, а не обливались, якоже рымляне».

Первый диспут был завершен. Как сообщает документальный источник: «И на тех словах патриарх и все замолчали и, мало посидев, востав из-за трапезы, пошли кручиноваты, что хотели оправдатися святыми книгами, да нигде не сыскали, и то им стало за великий стыд».

Греки так и не нашли доказательств в оправдание существования и тем более преимущества своих обрядов ни тогда, ни после. Несмотря на тенденцию к изменению с течением времени некоторых элементов внешней обрядности, прослеживаемую в разных странах и церковных традициях, перемена се на православном Востоке до сих пор вызывает много вопросов. Несколько не только происхождение троеперстия, но и другого важного и широко распространенного в новообрядческой церкви символического действия — так называемого «именословного» благословения.

Это перстосложение, предназначенное исключительно для архиерейского священодействия, представляет собой попытку изобразить пальцами правой руки начальные буквы имени Спасителя: ИС ХС. Несмотря на то что оно действительно только для греческого и славянского алфавита, ему приписывается сакральный характер и использовать его имеют право лишь священники и епископы.

Но совершенно невозможно проследить обстоятельства возникновения такого важного церковного чина. О нем не упоминает ни один из отцов церкви, его изображения нет в древней иконописи. Единственный след — смутные упоминания о некоем протопопе Николае Малаксе, сочинявшем духовные песнопения и явившемся, по-видимому, изобретателем и этого «именословного» перстосложения в XVI веке. Но каким образом нововведение малоизвестного священнослужителя получило столь важное значение и распространение в

практике церковной жизни православного Востока, остается непонятным. Неизвестно почти ничего о самом изобретателе. Имя Николая Малакса не всегда даже упоминается в официальных православных энциклопедиях, а если и встречается, то сопровождено крайне скромным комментарием, и о нем вполне уместно повторить слова греческого архимандрита, сказанные старцу Суханову: «И где, и в кое время и каково его житие было, того мы не ведаем все и писания о том у нас нету».

Неслучайно противники церковных преобразований отказывались признать и такое нововведение, как именословное перстосложение, если реформаторы сами не знали, как и при каких обстоятельствах оно появилось. Позже староверы прозвали его «малаксой».

Кроме перемены двуперстия на триперстие реформа патриарха Никона состояла в переделке содержания важнейших молитв и богослужебных текстов.

Справщики изменили написание имени Спасителя, добавив в него лишнюю букву «и» — вместо прежнего написания Иисус теперь стали писать по новогреческой традиции Иисус. Из Символа веры исключили слово «истинного» в отношении Святого Духа. Это изменение было необоснованным с канонической точки зрения. Один из исследователей «книжной справы» писал об этом так: «По самому смыслу Символа веры требуется в нем исповедовать Духа Святого Истинным, как исповедуем в том же Символе Бога Отца и Бога Сына Истинными»{34}.

Кроме того, из Символа веры справщиками был убран «аз» — буква перед словами о Спасителе: «рождена а не сотворена». Между тем этот «аз» напоминал верующим о напряженной борьбе за православие с ересью арианства, умалявшего божественную природу Христа. Аз подчеркивал единосущность Сына Отцу, равенство всех лиц Святой Троицы. «Аз же той в Символе старом во всех словенских книгах святых неизменно от начала веры, и подобает ему нужно быти ту и неотменно, понеже противу Ария еретика поставлен ту, яко кол острый, от святых отец наших Перваго Собора Вселенского. Арий бо тварь глаголаше Сына Божия быти, сиречь создана от Бога Отца; святые же отцы исповедаша, по Писанию Святому, рождена от Бога Отца, а не сотворена. Сия суть сила во азе том содержится»{35}.

В большинстве случаев исправления текстов, проводившиеся справщиками Никона наспех, отличались от старых редакций в худшую сторону, иногда принимая вовсе соблазнительный двусмысленный характер. Так, в стихире на «Господи возвах» вместо прежнего текста: «праотца бо Адама прельстивый древом Крестом побеждается...» в исправленном варианте сказано: «...Крестом прельщается...»{36}. В чине Крещения старый текст: «...молимся тебе, Господи, ниже да снидет с крещающимся дух лукавый» был заменен новым: «...ниже да снидет с крещающимся, молимся тебе, дух лукавый»[12]. В тропаре Великого Четверга старый дониконовский текст: «Но яко разбойник исповедаяся вопию Ти», а в новом варианте: «Но яко разбойник исповедаю Тя»{37}.

Подобные «исправления» оказывались не улучшением, а очевидной порчей богослужебных книг. Но реформа коснулась не только текстов. Велено было крестный ход совершать отныне против солнца, на просфорах древний православный восьмиконечный крест был заменен четырехконечным, распространенным у католиков и протестантов, а число самих просфор, каждая из которых имеет важное значение, сократили с семи до пяти. Протопоп Аввакум писал о реформе: «Удумали со дьяволом книги перепечатать, вся переменить, крест на церкви и на просфорах переменить, внутрь олтаря молитвы иерейские откинули, ектении переменили, в крещении явно духу лукавому молитца велят... и около купели против солнца лукавой-ет их водит, также и церкви святыя, против солнца же... а в крещении и не отрицаются сатоны. Чему быть? — дети ево...»{38}.

Одним из самых серьезных новшеств было решение, отменяющее перекрещивание католиков. Отныне их следовало принимать в православие только через покаяние в ересях.

Отмена перекрещивания означала признание католиков христианами, лишь в чем-то погрешающими или заблуждающимися. Это революционное изменение в корне переворачивало старый взгляд православных на еретиков как нехристиан. Оно символизировало принципиальную перемену в сознании тех людей, кто определял политическое и духовное развитие страны. Фактически отменялось прежнее направление государственного развития, начатое много веков назад, прерванное Смутой и вновь возрожденное патриархом Филаретом, — направление в сторону максимального удаления от иноверных соседей.

Примирительное отношение к католикам со стороны греческой церкви было вызвано политическими причинами. Гибущая Византия надеялась найти помощь со стороны западных стран в борьбе с турками. Позднее, потеряв самостоятельность и оказавшись в подданстве у султана, греки тем более имели причины искать контактов с прежними противниками, которых некогда отлучали от церкви на своих соборах. Выше приводились примеры того, какое разрушительное влияние на внутреннюю жизнь восточной православной церкви имели контакты с протестантским и католическим миром. Это были изменения в канонах и обрядах, распространение некоторых богословских мнений, которые ранее в самой греческой церкви почитались еретическими, учение о чистилище, обливательное крещение и многое другое.

Для России перемена отношения к католикам не была обоснована никакими объективными обстоятельствами, но развивалась так же стремительно. Очень скоро московское правительство даже войдет в Священную Лигу — объединение христианских держав под руководством Ватикана против Османской Турции.

Таким образом, окончательно будет признано, что папа римский такой же христианин, как русский царь...

Это была не только измена внука, царя Алексея, памяти и делам своего деда, патриарха Филарета, но делу жизни и памяти всех русских святителей и государей, от корня которых, хотя и не совсем обоснованно, так любил производить себя этот Романов.

Однако хуже и опаснее всего для будущего российского государства было то, что на самом деле тот западный «христианский» мир, руку которому подавали православные греки и русские, как раз в это время уже переставал быть собственно христианским. Цивилизация европейского Запада, с восторжествовавшими в ней началами рационализма и материализма, становилась в непримиримо враждебные отношения с любой культурой и цивилизацией, основанной на религиозных ценностях.

«Патриарх иноземцев!» — так называл в глаза своего противника Никона протопоп Иван Неронов. И это очень верная характеристика, но только в применении к фактическим последствиям действий патриарха, а не к его собственным убеждениям и целям. Никон принадлежит к числу тех общественных деятелей, свершения которых прямо противоречат их стремлениям.

Он вовсе не был ксенофилом. Скорее наоборот. Именно он настоял на запрете для иноземцев переодеваться в русское платье, чтобы их всегда можно было сразу распознать на улице и они не могли пройти незамеченными в православную церковь и тем самым осквернить ее. Для ограничения нежелательных, по его мнению, контактов москвичей с иностранными гостями Никон положил начало выселению последних в фактическую резервацию — будущую Немецкую слободу. Он постоянно преследовал любые нарушения традиционного московского уклада жизни, противостоял проникновению иноземных (в первую очередь западноевропейских) культурных влияний, жег иконы и живопись западных мастеров.

Но личные стремления патриарха, импульсивного и необразованного человека с задатками авторитарного диктатора, уже не имели значения, когда своими действиями он безрассудно внес смуту во внутренний мир православного царства, бросил его святыни на поругание формально единоверным грекам, которым издавна была глубоко враждебна и неприятна сама идея существования русского Третьего Рима в то время, когда их отчество и культура оказались поверженными. А за спинами этих «единоверцев», не скрываясь, стояла совсем другая цивилизация, духовно и материально подчинившая их себе, сделавшая из них агентов своего влияния и экспансии. Не умели или только не хотели понять этого патриарх Никон и его «собинный друг» царь Алексей — не так важно для истории. \* \* \*

Перемена церковного чина, правка богослужебных книг, проклятия в адрес двоеперстия произошли так резко и неожиданно, что и впрямь могли казаться наваждением. Однако новые, не менее удивительные события, продолжали изумлять москвичей. В июле 1658 года, просидев на патриаршем престоле всего шесть лет, Никон объявил о сложении с себя достоинства главы русской церкви. После литургии в Успенском соборе он демонстративно, на глазах потрясенных прихожан, снял с себя дорогие архиерейские одеяния и надел черную монашескую мантию, купленную заранее на торгу по его приказу. «Ленив я был учить вас... От сего времени не буду вам патриархом», — заявил Никон и хотел идти прочь. Его задержали посланные от царя, требуя прекратить недостойный спектакль. Он лишь передал Алексею Михайловичу письмо, написанное здесь же, в алтаре, и пошел из собора. Пешком добрался до патриаршего подворья, а оттуда уехал в свой любимый Воскресенский монастырь, построенный им на берегу подмосковной речки Истры.

Уход Никона был следствием серьезных разногласий с царем и охлаждения их прежней дружбы. В то время, пока православные жители Московского государства пытались осознать произведенные церковные новшества, между патриархом и царем возник спор ни много ни мало о приоритете светской или духовной власти.

Соборное Уложение 1649 года значительно ограничивало возможности епископата и монастырей в распоряжении принадлежащим им имуществом, в первую очередь — населенными имениями. Речь еще не шла о лишении церкви земельной собственности. Но созданное государственное ведомство, Монастырский приказ, должно было отныне управлять церковными вотчинами. Кроме того, царь присваивал себе полномочия по утверждению кандидатов на различные церковные звания и должности — игуменов, архимандритов, епископов и попов.

Подобные перемены говорили о возросшей роли государственной власти, стремящейся вмешиваться и иметь решающий голос во всех областях внутренней жизни страны, даже тех, которые традиционно сохраняли определенную автономность.

Никон категорически возражал против вмешательства государства в дела церкви и ограничения самостоятельности иереев, бывших ранее полновластными распорядителями в своих епархиях. Несмотря на расположность к Никону, в этом вопросе царь Алексей оставался непреклонен, хотя сделал множество исключений лично для своего друга. Патриаршии земельные владения значительно увеличились благодаря царским пожалованиям и включали в себя целые уезды и города. Суд и управление внутри этих территорий по-прежнему находились в ведении патриарха.

Но Никон не был удовлетворен этими уступками и развернул настоящую войну за отмену стеснявших церковную иерархию статей Уложения. В пылу борьбы он стал настаивать на изначальном превосходстве духовной власти патриарха над царской.

В исторической литературе обыкновенно придается достаточно большое значение этому противостоянию и его известному исходу в пользу царя, как едва ли не судьбоносному для будущих взаимоотношений церкви и государства в России. Но во властных претензиях

Никона, как и в его «книжной справе», нельзя не видеть решающего значения элемента случайности, эмоционального увлечения, а не твердой продуманной позиции. Утверждая, что «священство царства преbole есть», патриарх не имел для защиты своих взглядов ни практических возможностей, ни опоры в истории русской церкви, ни удовлетворительной школьной подготовки.

Желание стать «папой» московского, а потом и вселенского православия — было не чем иным, как бредовой мечтой, не имело ничего общего с реальностью. Царь, в свое время предоставивший Никону немало полномочий в решении непосредственно государственных дел, серьезно забеспокоился. Но и его реакция была затемнена личным отношением, не имела за собой продуманного плана или конкретной политической цели. Безусловно, при царе Алексее начинает совершаться переход к новым формам взаимоотношения церкви и государства, так же как меняются взаимоотношения власти и всего русского общества. Но перемены в большинстве случаев еще не обусловлены сознательным стремлением к ним, зависят от индивидуальных особенностей и склада характера своих авторов. При этом инициаторы перемен совершенно не умеют предвидеть последствий своих действий.

Отношения царя и патриарха были в первую очередь конфликтом двух людей, двух честолюбий, а не противостоянием «церкви» и «государства». Алексей Михайлович стал тяготиться властным другом, которого принял «отца в место» в пору ранней юности, и искал способов избавиться от его навязчивого участия в делах правления. Но в этой борьбе все же проявилась черта, представлявшая собой важную тенденцию в ходе всей начавшей ломки общественных институтов и представлений. Споря о власти, царь и патриарх совершенно забыли о том, что прежде решающую роль в жизни церкви имел не светский правитель, и не духовный глава, а собор всех христиан — мирян и священников. Но соборность предполагала определенную степень свободы, в том числе гражданской самостоятельности граждан, которая стремительно уменьшалась в это время.

Падение Никона вдохновило противников его «новин» на попытки уговорить царя вернуться к дореформенному церковному чину. Алексея Михайловича засыпали грамотами и челобитными, в которых подробно анализировали содержание «исправлений» книг и обрядов, явные погрешности и нелепости, допущенные никоновскими справщиками, указывали на древность и непорочность древнего устава русской церкви и умоляли отменить реформу. В народе роптали против новых обрядов, боясь греха, люди не желали ходить на службы по новому уставу. Опустели церкви. Встретив царский возок, известный и почитаемый на Москве юродивый бежал рядом, крича: «Добро бы, самодержавный, на древнее благочестие вступити!»

В собственном доме царь Алексей был вынужден терпеть противников своей церковной политики. Помимо многих знатных бояр, старшая сестра Алексея Михайловича, Ирина, была сторонницей старого церковного устава. Протопоп Аввакум чтил царевну и ее усилия по защите древлеправославия, писал к ней: «Ты у нас по царе над царством со игуменом Христом игумения». При ней жили братья Аввакума, который сам находился в ссылке в это время. А другая царская сестра, Татьяна Михайловна, не скрывала своего преклонения перед Никоном, осуждая брата за его действия против патриарха.

Но царь и не думал об отмене церковной реформы. Наоборот, он стремился утвердить произведенные преобразования, сделать их необратимыми. Кроме того, он хотел окончательно избавиться от Никона.

Остыв после своего театрального оставления Москвы, наскучив сидением в любимом Ново-Иерусалимском монастыре, бывший патриарх решил вернуть себе власть над церковью. В каноническом смысле он и продолжал оставаться ее главой. Давая согласие на выборы нового патриарха в первые дни после ухода, теперь Никон передумал. В нем ожила надежда на возрождение дружбы с царем. Он тосковал по прежней жизни, по неограниченной

власти. В противоречивой душе этого гиганта, носившего в свое время железные вериги в несколько пудов, никогда не умирала страсть к житейским удовольствиям. В 1659 году он пишет Алексею Михайловичу: «Бе иногда во всяком богатстве и единотрапезен бе с тобою. Не стыжуся о сих похвалитися. Питан яко телец толстыми многими пищами по обычаю вашему государеву, его же аз много насладив, вскоре не могу забыти...»{39}

Попечение о мирском никогда не оставляло Никона. В пору величия он выступал как рачительный хозяин своих вотчин и монастырей, всячески заботился о приращении «именьца», был при этом крайне жесток с подчиненными людьми, и его немилостивой расправы боялись сильнее царского суда. Даже оказавшись в ссылке в Кирилло-Белозерском монастыре, он требовал от монахов для себя хорошего содержания и обильного стола, постоянно жаловался на них в письмах к царю, пьянствовал с посетителями, приходившими к нему, в том числе с женщинами. Как отличается он от своего непримиримого противника Аввакума, презиравшего любые соблазны и стойко переносившего долголетнее заключение в земляной тюрьме в Заполярье, а драгоценные чернила тратившего на поучения духовным детям, а не на кляузы! Вспоминая евангельскую притчу о нищем Лазаре и жадном богаче, попавшем в ад, Аввакум так комментирует ее: «Каков сам был милостив?! — грозно спрашивает он жадного грешника. — Вот твоему празднству отданье! Любил вино и мед пить, и жареные лебеди, и гуси, и рафленые куры: вот тебе в то место в жару в горло, губитель души своей окаянной... За что Христа не слушал, нищих не миловал? Плюнул бы ему в рожу ту и брюхо то толстое пнул бы ногою»{40}!

Царь решил довести реформу до конца и положить конец затянувшейся церковной смуте. Он надеялся, что вмешательство вселенских патриархов образумит всех недовольных и заставит их замолчать. В Москву вызвали первосвятителей православного Востока. Но от них последовал неожиданный отказ. Патриарх Константинопольский, а за ним и другие не спешили вмешиваться в не до конца ясный им конфликт, казавшийся внутренним делом русской церкви. Не хотели они и суда над Никоном, который был известен как грекофил, человек, много сделавший для утверждения пошатнувшегося авторитета греческой церкви в России.

Тогда к делу привлекли обретавшегося в Москве Газского митрополита Паисия Лигарида. Как о нем было известно, он имел богатый опыт в делах, которые требовали деликатного подхода. Однако, не зная всех подробностей биографии митрополита, в Москве даже не предполагали, в какую череду скандалов вовлечет этот беспринципный человек и царя, и всю русскую церковную иерархию.

На первых порах Лигарид вполне оправдал возложенные на него надежды. Под его руководством дело подготовки собора и участия в нем иерархов Востока стало напаживаться на глазах. Отправленные им к вселенским патриархам доверенные люди, грек Стефан и диакон Мелетий, скоро вернулись с хорошими новостями, которыми Паисий поспешил обрадовать удрученного прежними неудачами царя.

Хотя константинопольский патриарх Дионисий и иерусалимский патриарх Нектарий по-прежнему отказывались приехать в Москву, они прислали грамоту, в которой назначали Паисия Лигарида своим полномочным представителем на предстоящем соборе. Кроме того, в ближайшее время в Москву лично обещали приехать патриархи антиохийский иalexандрийский.

В ожидании их приезда, весной 1666 года, который, по многим пророчествам, должен был ознаменовать конец православия на Руси и начало царства антихриста, в Москве открылся большой церковный собор.

На его рассмотрение были предложены вопросы отношения к обрядовой реформе и судьбе патриарха Никона. Русские архиереи отнеслись к своему бывшему главе снисходительно. За

самовольное и не вызванное никакими внешними причинами оставление своего пастырского места, что подвергло жизнь церкви опасности и смути, его лишили сана патриарха московского. Но Никона по-прежнему именовали «святым» господином и в качестве утешения оставляли ему в его личное владение три крупных монастыря. Примечательно, что еще до собора Никону предложили самому определить условия своей отставки, и это он выдвинул требование такого солидного материального обеспечения. Его аппетиты, правда, были еще шире. Эти три монастыря были как бы центрами целого созвездия из 16-ти менее крупных обителей, каждая из которых владела своими вотчинами, приписанными к ним крестьянами, промыслами и прочим достоянием. Таким образом, в свои руки бывший патриарх хотел получить область, сопоставимую по размерам с небольшим княжеством удельного времени. На соборе Никону оставили крупные монастыри, но все прочие «тянувшие» к нему — вернули в распоряжение епархиальных архиереев. Отклонили также требование Никона, снова начавшего терять чувство реальности, самому определять — кто будет следующим патриархом.

Одновременно с этим, собором были признаны нововведения отставленного патриарха в церковных обрядах. Троеперстное крестное знамение и все исправления богослужебных текстов признавались правильными. Несогласным угрожали не только духовным осуждением, но и прямой физической расправой: «Аще же кто... начнет прекословити... мы таких накажем духовно; аще же и духовное наказание начнут пресизирати, и мы таковым приложим и телесная озлобления»{41}.

Перед отцами собора предстали как раз несколько таких «мятежников», отказывавшихся признать никоновские новинки. Это были известные иуважаемые в русской церкви люди — протопоп Аввакум, игумен Сергий (Салтыков), старец Ефрем Потемкин, протопоп Серапион Смоленский, священник Никита Добринин, диакон Феодор и другие.

Поп Никита и диакон Феодор привезли с собой письменные опровержения реформ. Они с наивной верой в торжество здравого смысла утруждали слух своих судей подробным сличением прежнего и нового текста, указывали на вопиющие ошибки редакторов и на противоречия друг другу внутри самих «исправленных» книг разных изданий. Архиереи, накануне судилища поклявшиеся ни в чем не противоречить воле царя и непременно добиться осуждения защитников старины, даже не слушали их. Они отмечали любые доказательства, затыкали рты и требовали одного — слепого преклонения перед царским и архиерейским словом. Но такая авторитарная позиция в корне расходилась с русской традицией соборности. Горько сказал диакон Феодор в глаза этим продажным князьям церкви: «Добро угодати Христу... а не лица зреши тленного царя и похоти его утешать!»

Между заседаниями собора непокорных пробовали уговаривать. Когда не действовали слова — били, морили голодом. Аввакума еще до открытия собора девять недель держали на цепи в Пафнутьевом монастыре в Боровске, где игумен едва не каждый день приходил к нему с одними и теми же словами — «Приобщися нам...»

Однако беззаконные действия судей принесли свои плоды. Большинство из тех, кого привезли на собор в качестве обвиняемых, — покорились и признали новые книги и троеперстие. Непреклонными оставались трое: сузdalский поп Никита, диакон Феодор и Аввакум. Их отвели в Успенский собор, где лишили священного сана и предали анафеме. В ответ защитники древлеправославия прокляли своих проклинателей.

В ноябре приехали наконец восточные патриархи, Макарий антиохийский и Паисий александрийский. Еще ранее агенты Лигарида дали им понять, что от них требуется исполнять желания царя и своим авторитетом поддержать решения русского собора по осуждению старого русского церковного обряда. У напутствованных таким образом патриархов не было, по-видимому, ни большого желания, ни возможности, ввиду незнания русского языка, вникать в истинное существо дела. Но все же они, хотя и не по своей воле, а

по инициативе некоторых участников собора, едва не оказались втянуты в серьезный конфликт с царем. Кое-кто из русского епископата, в частности, Иларион Рязанский и Павел Коломенский, затеяли нечто вроде оппозиции царскому стремлению слишком глубоко вмешиваться во внутреннюю жизнь церкви. Не имея ничего против отставки Никона, они тем не менее разделяли его стремление защитить и максимально увеличить архиерейские права и полномочия. Приезд восточных патриархов был удачной возможностью с их помощью попытаться приостановить напор светской власти на прерогативы священства. Встречаясь с Макарием и Паисием, Иларион и Павел жаловались им на «великую нужду и всякие затруднения» в собственных епархиях от вмешательства в их дела царских людей. «Много тяжкого переносим от властей, но страшимся еще худшего», — вздохали епископы, призывая вселенских судей уговорить царя пойти на уступки.

До Алексея Михайловича дошли слухи о приватных переговорах русских епископов с приезжими иерархами. Не желая никаких неожиданностей, царь дал понять высоким гостям, что любая самостоятельность, не предусмотренная «сценарием», не найдет у него понимания. На двор, где остановились патриархи, приехал однажды архимандрит афонского Иверского монастыря Дионисий. Этот грек давно жил в Москве и принимал активное участие в правке книг и подготовке всех соборных заседаний. Он напрямки заявил престарелым первосвятителям: «Отцы святии! Заезжия вы люди здесь. Лице так станете судить... и вам чести большия и милостины довольно и даров не будет от великого государя... но сошлют вас в монастырь, где яко же и Максима Грека нашего святогорца, и во свою землю не отпустят вас, аще в зазор станет дело. Как им надобно, так и пущайте»{42}.

Вселенские патриархи не стали спорить, тем более что жаловаться на царскую щедрость им не приходилось. С самого момента их пересечения русской границы подношения и дары не переставая пополняли патриарший сундуки. За время пребывания в России сами святые отцы и множество сопровождавших их лиц изрядно обогатились серебряной и золотой посудой, мехами, денежными пожалованиями из казны. По подсчетам С.Л. Зеньковского, на долю каждого из патриархов пришлось не менее 200 000 рублей по курсу 1900 года. И это не считая драгоценных подарков от частных лиц, вельмож, архиереев, настоятелей монастырей. Впрочем, не менее щедро были оплачены и услуги Паисия Лигарида, и его доверенных людей.

Первым делом участников вновь открывшихся соборных заседаний стал пересмотр решения русских епископов о судьбе Никона. Не вполне понятны причины, по которым царь счел необходимым вернуться к рассмотрению этого вопроса. Так или иначе, по участию бывшего патриарха теперь переменилась круто и безжалостно. Он был расстрижен из сана, лишен всего имущества и простым монахом отправлен в далекий северный Ферапонтов монастырь.

Для характеристики Никона нельзя не упомянуть о его поведении на суде. Обвинители, вновь упрекая его в самовольном оставлении патриаршего служения, сослались на указание греческой Кормчей книги, предусматривавшей в этом случае наказание в виде отстранения архиерея: «Кто покинет престол волею, без навета и тому впредь не быть на престоле». Однако Никон невозмутимо возразил: «Те-де правила не апостольские и не вселенских соборов». Когда ему напомнили, что это правила, принятые в греческой церкви, он в ответ и вовсе заявил нечто от него совершенно неожиданное: «Тех-де правил в русской Кормчей книге нет. А греческие-де правила не прямые. Те-де правила патриархи от себя учинили, а не из правил. После вселенских соборов все-де враки! А печатали те правила еретики...»{43}

Так отец русской церковной реформы по новогреческому образцу во всеуслышание порочил основные источники собственных преобразований и их создателей-греков.

Теперь, после устранения Никона, собор приступил к рассмотрению его нововведений. Подробности реформы, ее причины и содержание были представлены для патриархов в сочинении афонского грека Дионисия. Это был весьма предвзятый взгляд на старый

церковный устав и всю русскую церковную традицию вообще.

Главной мыслью сочинения Дионисия явилось то, что отличия русского обряда от греческого были следствием местных московских измышлений и вольного толкования богослужебных текстов, по сути — ересью! Что началась эта ересь на Руси со времени разрыва с греческой церковью в XV веке после Флорентийской унии.

Таким образом, вся история русского церковного обряда, который в действительности являлся только бережно сохраненным наследием древнехристианской церкви и самой греческой церкви раннего времени, была подана в корне неверно и тенденциозно.

В результате на соборе возобладала позиция слепого осуждения и невиданного унижения всей дереформенной русской церковной истории. Стараниями приезжих греческих иерархов Русь, но словам С.А. Зеньковского, «оказывалась хранительницей не православия, а грубых богослужебных ошибок. Миссия России охранять православие была объявлена несостоятельной претензией... Православное русское царство, предвестник грядущего царства Святого Духа на земле, превращалось в... простое государство, хотя с новыми имперскими претензиями, но без особого освященного Богом пути в истории»{44}.

На заседании 13 мая 1667 года соборно было утверждено принять все произведенные при патриархе Никоне перемены церковного обряда. Проклятию подверглись не только двуперстие и старые книги, но и те из православных людей, кто осмелится придерживаться их в будущем. Ослушников предписывалось «казнить разным томлением и различными муками» без милости.

Попытки защитников старины сослаться на авторитет древнерусской традиции и решения Стоглавого собора были решительно отвергнуты, причем снова с заведомым искажением действительных фактов. Не утруждая себя доказательствами, вселенские судьи демонстрировали откровенное презрение к русской церкви и всему государству, включая его правителей. С оскорбительным неуважением они отзывались об участниках знаменитого собора, среди которых был и митрополит Макарий, и царь Иван Четвертый: «Зане той Макарий митрополит, и иже с ним мудрствоваша невежеством своим безрассудно». Отцов Стоглавого собора 1551 года греческие патриархи упрекали за то, что они действовали якобы вопреки указаниям древних греческих и словенских книг, были тем самым распространителями «прелести» и страшных ересей. Но это была откровенная ложь[13], порочившая русское православие, под которой тем не менее поставили свои подписи все русские архиереи и сам царь Алексей.

Поругание святой русской старины не кем-нибудь, а самим государем и епископами церкви во главе с вселенскими патриархами, «столпами веры», в одних рождало возмущение и протест, в других — отчаяние. Но никто не мог себе представить, что в это время творилось за кулисами соборных заседаний и вскоре после них.

К смущению московского правительства и лично царя, стало выясняться, что главные судьи — патриархи антиохийский и александрийский — не имели никакого канонического права для участия в соборе и, тем более, для вынесения решений о судьбе русской церкви. К этому времени они сами были отстранены от своих кафедр константинопольским патриархом по обвинению в нарушении церковного устава и поведении, недостойном пастырей. Кроме того, стало известно, что главный организатор всей предсоборной подготовки и вдохновитель ключевых решений, газский митрополит Паисий Лигарид, действовавший как экзарх константинопольского патриарха, в действительности был давно не только отстранен от своей митрополии, но предан анафеме, как тайный католик и иезуит. Выяснилось, что его мнимые полномочия представлять вселенского константинопольского патриарха основаны на обыкновенной фальшивке — поддельной грамоте, состряпанной его сообщником диаконом Мелетием, который и ранее неоднократно оказывал своему патрону Лигариду подобные

услуги.

Обнародование подобных известий могло иметь слишком далеко идущие и непредсказуемые последствия. Причем не столько для греческих гостей, сколько для исполнения решений московского собора 1666—1667 годов, судьбы обрядовой реформы в целом и самих реформаторов во главе с царем, допустивших разгром древнего церковного устава в угоду и под руководством иноземных авантюристов.

Царь Алексей дал указания срочно исправить дело[14]. Дьяки Посольского приказа исполнили повеление, но московской казне покрывательство грехов заезжих «архиереев» стоило дорого, а царские дипломаты использовали для этого все свое искусство и связи в турецкой администрации. На протяжении нескольких лет с помощью взяток и уговоров пытались вернуть отстраненным патриархам их кафедры. Но этому противился константинопольский патриарх Парфений. Тогда Алексей Михайлович лично обратился к султану с просьбой оказать ему «братскую» услугу — отстранить строптивого константинопольского первосвятителя и вернуть Паисию и Макарию их епархии. Турки были неприятно удивлены странной просьбой православного государя, тем более что без острой необходимости предпочитали не вмешиваться во внутреннюю жизнь христианских общин, но все-таки отказывать не стали. Патриарх Парфений был смешен, а Паисий и Макарий получили обратно символы пастырской власти. Так, задним числом, было восстановлено подобие каноничности их статуса вселенских судей московского собора.

Нельзя не обратить внимания на то, что в момент реформы в Россию, как нарочно, съехались и стали во главе нововведений люди самых низких моральных качеств и испорченных нравов. В первую очередь это было вызвано повсеместным упадком духовности среди священства православного Востока. Но большинством современников этот наплыв авантюристов и торжество явных еретиков объяснялись причинами мистического свойства. Из уст в уста передавались впоследствии слова бывшего духовного отца Никона, старца Елеазара Анзерского, что он как-то во время церковной службы увидел вдруг черного змея, обвившегося вокруг плеч и шеи Никона и прислонившего свою голову к его уху, словно нашептывая что-то. А в короткое время после этого началась как раз сказочная карьера безвестного монаха, превратившегося в патриарха-реформатора.

Москвичей не могло не смущать, например, что главным помощником Никона в правке богослужебных книг был «старец» Арсений Грек. Он превосходил своей темной биографией даже такого мошенника, каким являлся «митрополит» Паисий Лигарид. Правда, их объединяло вместе то, что и Арсения и Лигарида привез в Москву и свел с Никоном и царем тот самый патриарх Паисий иерусалимский, который и был вдохновителем трагической реформы русского церковного устава.

Арсений Грек родился в православной семье в Турции, учился в Венеции и Риме, где перешел в униатство. После возвращения домой перешел опять в православие, но потом, при неясных обстоятельствах, принял ислам. Затем снова стал православным и в сане архимандрита жил в Киеве и Польше без определенных занятий, пока не встретил Паисия иерусалимского и вместе с ним не приехал в Москву. Здесь он пользовался почетом как ученый богослов, пока не стало известно о его многочисленных переменах веры. Подобное ренегатство, обычное на Востоке, в духовной жизни дореформенной Москвы было недопустимо. Арсения отправили для покаяния в грехах и духовного исправления на Соловецкие острова под строгий надзор монахов знаменитого монастыря. Там, когда казалось, что его жизнь так и должна закончиться на острове, затерянном среди волн Белого моря, судьба неожиданно улыбнулась узнику. На Соловки за мощами митрополита Филиппа (Колычева) приехал Никон. Познакомившись с Арсением и почувствовав, что превосходно образованный и ловкий грек будет ему полезен в предстоящих преобразованиях, Никон взял его обратно в Москву и поставил во главе своей книжной справы, нисколько не смущаясь тем, что человек, ответственный за «исправление» древних православных текстов, сам много раз

изменял православию.

В то время, когда в стране начинался безжалостный разгром освященной веками церковной благочестивой старины — преследование тех, кто смел придерживаться древлеправославных обрядов, повсеместное уничтожение древних икон, на которых было изображено двоеперстие, сжигание старинных богослужебных книг — из Москвы приходили все более и более возмутительные известия о поведении греческих священнослужителей из ближайшего царского окружения.

Наконец стало известно о невероятном, трудно вообразимом кощунстве — акте содомии, произведенном в алтаре кафедрального кремлевского Успенского собора. Этот акт был совершен царским советником по вопросам богословия, афонским архимандритом Дионисием, одним из главных теоретиков осуждения древлеправославного обряда. В чelobitnoй на имя царя указывалось, что Дионисий не только осквернил священное место, но дерзновенно нарядил при этом совращенного им иподьяка в святительские ризы и омофор — то есть в одеяние епископа.

Поступок Дионисия выходил за рамки обыкновенных, даже самых тяжких прегрешений и преступлений. Это было уже нечто большее — надругательство не только над отдельным человеком, но над всей православной церковью, настоящий сатанизм. Потрясенные москвичи так и восприняли произошедшее, как символическое деяние: «Как выедет он, архимарит, во свою землю, скажет — вместо детища — я, де, глупых русаков и владыку блудил».

От царя, как защитника веры, ждали хотя бы здесь справедливой немедленной реакции. Протопоп Аввакум писал царю, умоляя его очистить храм от осквернения: «Пес убо, аще вскочит в церковь — ино священие есть, а то такая скверна, ея же ради — Содома и Гомора, пять градов погибе! И се на таком святом месте... Дело то соборное и исправить зело нужно. И аще архиереи исправити не радят, попе ты, христолюбивый государь, ту церковь от таковыя скверны потчиша очистить...»{45}

Но никакого освящения храма не было произведено. Алексей Михайлович не только оставил дело без всяких последствий, но еще больше приблизил Дионисия.

Во время крестного хода у стен оскверненного Успенского собора, накануне Пасхи, в Великую Субботу, новообрядческое русское духовенство двинулось по старинке «по солонь» — по солнцу. Архимандрит Дионисий, участвовавший в богослужении, демонстративно повел греческих священников в противоположном направлении, согласно недавно утвержденным правилам. Начинался конфликт, который разрешил своим вмешательством царь Алексей. Он приказал всем замолчать и уверенно пошел рядом с Дионисием. Русские епископы послушно двинулись следом. \* \* \*

Первая глава Соборного Уложения 1649 года «О богохульниках и церковных мятежниках» предписывала казнить смертью любого, кто осмелится возносить хулу на «Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа... или на честный крест». Смертная казнь или другие жестокие наказания грозили тем, кто станет мешать совершению Литургии, или «учинит мятеж» в церкви, или начнет бить кого-нибудь, или ранит, или обесчестит словом — «чтобы от того в церкви Божий церковному пению смятения не было»...

Многим в России казалось, что царь Алексей с приближенными исполнителями своей воли подпадает под карательное действие собственного законодательства, утвержденного еще до начала церковной реформы. Под руководством царя переделывались священные тексты и обряды, по которым спасались многие подвижники веры; его слуги врывались в церкви во время богослужений, бесчестили и били священников, служивших по старым книгам, пытали в застенках и ломали пальцы тем, кто крестился двумя перстами, то есть точно так, как крестились на протяжении семи веков христианства на Руси. И все это без всяких

канонических обоснований, единственно с глухой и неясной ссылкой на авторитет приезжих греков. Но что за люди были эти греки и какие они на самом деле были христиане — видели все по их богохульным поступкам, неумеренной алчности и непомерной гордыне.

В условиях, когда высшая русская церковная иерархия беспрекословно подчинилась царской воле[15], из народной среды, из самых разных слоев всего «люда» Московского государства вышли непримиримые защитники древлеправославного благочестия — приходские попы, монахи, служилые дворяне и представители древних аристократических родов, простецы-миряне, купцы, горожане, стрельцы и казаки. Их объединяло прежнее традиционное для Руси сознание надсословного единства, христианского братства. Ими всеми руководило православное правосознание, требовавшее от каждого христианина при необходимости встать на защиту веры.

Из всех русских епископов только Павел коломенский открыто воспротивился нововведениям. Никон собственноручно избил его и сослал в дальний монастырь, где престарелый епископ был замучен слугами патриарха до смерти. Заключением в тюрьму, пытками и унижениями пытались запугать противников и погасить сопротивление реформе. Но любые меры физического воздействия и устрашения были бессильны перед самоотверженным подвигом мучеников за веру.

И все же протопоп Аввакум выделяется среди прочих страдальцев за древлеправославие исключительной стойкостью и непреклонностью. Случалось, что и некоторые самые преданные старой вере люди не выдерживали преследований, из понятной человеческой слабости или в качестве уловки, чтобы обмануть бдительность судей, хотя бы временно принимали нововведения. И тогда Аввакум оказывался едва ли не в совершенном одиночестве перед всей мощью государственно-церковной коалиции, и на нем одном держалось дело сохранения святорусского благочестия. Но ни разу этот человек-скала, обладавший боговдохновенной нравственной силой и твердостью, не дрогнул ни перед какими испытаниями, выполнив свое призвание до конца.

На московском соборе 1666—1667 годов, приведенный из темницы и стоя один перед судом великолепно одетых и гордых архиереев, Аввакум добродушно сказал вселенским патриархам, Макарию и Паисию: «Вселенстие учитилие! И впредь приезжайте к нам учите: у нас Божию благодатию... до Никона отступника в нашей России у благочестивых князей и царей все было православие чисто и непорочно, и церковь немятежиа...» Тут русские епископы, с оглядкой на царя, принялись бранить проповедника. Аввакум говорит об этом: «А наши, что волченки, вскоча, завыли и блевать стали на отцев своих, говоря: “глупы-де были и несмыслены наши руские святые, не ученые-де люди были, — чему им верить! Они-де грамоте не умели!”. О, Боже святый! Како претерпе святых своих толикая досаждения... Побранил их, колко мог... так на меня и пуши закричали: возми, возми его! Всех нас обезчестил! Да толкать и бить меня стали; и патриархи сами на меня набросились: человек с сорок, чаю, было, — велико антихристово войско собралося!...»{46}

Несгибаемая воля, глубокая убежденность в правоте старой веры, начитанность в Священном Писании и сочинениях отцов церкви в соединении с удивительной памятью, позволявшей Аввакуму и спустя более 10 лет, проведенных без книг в тюрьме, цитировать очень точно фрагменты из разных богословских текстов, — эти способности делали богатыря протопопа смертельно опасным противником для инициаторов перемен в жизни русской церкви.

И враги и поклонники Аввакума из нестарообрядческой среды, хотя и по разным причинам, но непременно обращали внимание на его «русофильство». Протопоп предстает в таких описаниях первым русским националистом, а все дело защиты старой веры сводится к отстаиванию узконациональных идеалов и «доморощенных», как с неприязнью выражаются некоторые исследователи, начал культурной и религиозной жизни.

Аввакум действительно был преданным сыном русской земли, глубоко влюбленным в культуру и характер своего народа. Он гордился русским языком, почитал подвиги русских святых и славу доблестных русских князей и воевод. Но в основе его восторженной любви к родине лежало религиозное чувство. Счастливое осознание того, что именно она Божьим соизволением является хранительницей истинной и непорочной христианской веры, того «пресветлого православия», служение которому объединяло всех людей Московского государства, от смерда до царя, на протяжении веков. И это осознание столь важной духовной миссии своей страны было вызвано объективным взглядом на современность и знанием церковной истории.

27 августа 1667 года, по приговору царя и московского собора, самых стойких противников реформы вывели на площадь. Иноку Епифанию и попу Лазарю должны были вырезать языки. Протопопа Аввакума пощадили по настойчивому заступничеству царицы Марии Ильиничны и увезли из Москвы заранее. Суеверный царь Алексей, очевидно, побаивался грозного протопопа, в котором чаял огромную духовную силу. Он не решился причинить ему вред и послал стрелецкого голову Юрия Лутохина тайно просить Аввакума, чтобы он молился о нем, «многогрешном царе», и о царских детях...

Осужденным клещами захватили языки и отрезали «до вилок», оставив небольшие обрубки. Епифаний ослабел от казни и был почти без сознания. Лазарь вел себя твердо. Собравшись с силами, он выплюнул изо рта обильно сочившуюся кровь, отер губы и правой окровавленной рукой благословил двоеперстно собравшийся народ.

По дороге в ссылку в подмосковном селе Братошине Епифаний и Лазарь встретились с Аввакумом. Протопоп плакал, увида истерзанных друзей, и «перецеловав их кровавыя уста, благодарив Бога, и яко сподобихся видети мученики в наша лета».

Заточенные в земляной тюрьме невероятно далекого Пустозерска, с вырезанными языками, узники должны были, по мысли преследователей, быть погребенными заживо, исчезнуть бесследно из памяти людей. Но этого не случилось. Из-за частокола городка, расположенного за Северным полярным кругом, раздавались проповеди и поучения, расходившиеся во множестве списков по всей стране, вдохновлявшие на борьбу за православную веру.

Правительством и церковными иерархами «книжная справа» и перемена прежнего устава подавалась всегда как исключительно обрядовая реформа, т.е. изменение некоторых внешних форм без касания до коренных основ православного вероучения.

Противники нововведений смотрели на происходящее совершенно иначе. Они воспринимали реформу как введение именно «новой веры», а не коррекцию обрядов старой. Еще епископ Павел коломенский заявил в лицо Никону: «Мы новой веры не примем!» Соловецкие старцы писали в челобитной царю: «Проповедают нам ныне... новую незнамую веру по своему плоцкому мудрованию, а не по апостольскому и святых отец преданию...»

Это убеждение коренилось в традиционном для православия отношении к церковным канонам, как святым законоположениям, раз и навсегда утвержденным и незыблемым. Ведь этими канонами много веков назад были утверждены все основы христианского учения, выраженные в первую очередь в Символе Веры. Если он изменяется, значит, меняется и сама вера.

Такое ревнивое отношение к каждой букве святых текстов не имело ничего общего с «дикостью» или «необразованностью», как позже характеризовали его светские историки. Сами отцы церкви, учителя первых семи вселенских соборов подавали пример подобной строгости в подходе к содержанию богослужебных книг, а борьба с ересями в ранней церкви со всей очевидностью показывает важность даже незначительных отклонений в толковании

того или иного слова для будущего всего вероучения![16]

Нововедениям воспротивилось большинство православного населения царства. Но самым ярким и важным по своим последствиям выступлением против «новой веры» стало восстание Соловецкого монастыря.

Старцы обители не принесли новых книг с самого начала церковной реформы. Они обращались к царю с челобитными, в которых доказывали спасительность и чистоту древлеправославного устава, и молили остановить Никона и его последователей. В Москве за проклятиями в адрес старого обряда, в трудах по осуждению Никона и хлопотах с обелением самозваных греческих патриархов поначалу недооценили значения этого протеста. Наконец, была получена уже не челобитная, а настоящий ультиматум, в котором за обычными верноподданническими фразами скрывалась непримиримая оппозиция церковной политике царя Алексея.

Все насельники монастыря, иноки и бельцы, общим решением постановили скорее умереть, чем принять еретические новинки. Они писали царю: «...Не вели, государь, у нас тем новым учителем... истинную нашу православную християнскую веру, самим Господом нашим Иисусом Христом и святыми его Апостолы преданную, и седми вселенскими соборы, и твоими государевыми прародителями утвержденную, изменити и порушить, чтобы нам Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, Царя царствующим и Господа господствующим не прогневить и во веки в бесконечное мучение осужденным не быть, и тою повою верою прародителей твоих государевых и святых отец не посрамить, а иноземцом и хулником нашей христианской православной веры впредь дерзновения не подать... Аще ли твой, великаго государя... гнев на нас грешных излиетца, и православную нашу християнскую непорочную веру тем новые веры проповедником отнять у нас попустити изволит, и чудотворцев наших и прочих святых отец предание изменить... лучше нам временною смертию умереть, нежели вечно погибнуть. Или аще, государь, огню и мукам нас те новые учителя предадут, или на уды разескут: но убо изменить апостольского пороченного и отеческаго предания не будем во веки. Великий государь царь, смилийся пожалуй!»

Стало ясно, что важный форпост, могущественный монастырь, бывший центром и хозяином почти всего русского севера, владелец бескрайних земельных владений, денежной казны, собственного флота, старцы которого обладали непререкаемым духовным авторитетом по всей стране, — объявляет войну церковной реформе, а вместе с тем и центральному правительству, фактически признавая его неправославным! Такого еще не случалось в отечественной истории.

Не решаясь действовать крутыми мерами, царь предпочел выгадать время. Весной 1668 года к Соловкам отправили воинский отряд во главе с воеводой Волоховым. Ему было приказано окружить монастырь, но активных действий не предпринимать. В начале лета, по некоторым данным 22 июня, царские солдаты начали осаду обители. Ужесточаясь год от года, она продолжалась около 8 лет.

Полностью изолировать восставшую обитель от связи с материком было невозможно. Монастырь пользовался сочувствием и помощью всего русского населения побережья Белого моря. Окрестные жители в обход воеводских застав, по воде доставляли на острова продовольствие, одежду, боевые припасы. Монастырь не испытывал никаких затруднений в обеспечении своих защитников всем необходимым, и даже с избытком.

Отряд царских солдат сам оказался в своего рода нравственной осаде — оскорбителей святой обители, почитаемой по всей Руси и во всем Поморье, не только не жаловали в деревнях, но каждый день можно было ожидать нападения на сторожевые посты и на воеводский штаб, расположившийся в Сумском остроге. Руководившие осадой военачальники не могли быть полностью уверены даже в собственных подчиненных, в

первую очередь в стрельцах, порой отказывавшихся выполнять приказы, направленные против соловецких сидельцев.

За время осады сменилось трое воевод, каждый из которых получал из Москвы все более жесткие инструкции. Очень скоро вялое противостояние первого времени сменилось вооруженной борьбой. Осаждавшие стали стрелять по монастырю, жечь жилые и хозяйствственные строения, расположенные вне стен, ловить иноков и бельцов, пытая и замучивая их до смерти. В ответ защитники обители также открыли по врагу огонь мощной монастырской артиллерии. Духовный глава восставших, архимандрит Никанор, кропил пушки святой водой перед боем с царским войском, как делали во время войны с иноверными завоевателями.

На Соловки приходили и соединялись с осажденными множество добровольцев, желавших оказать им вооруженную помощь. После разгрома восстания Степана Разина среди защитников монастыря появилось немало казаков и есаулов, сражавшихся прежде под знаменем донского атамана, а теперь продолживших борьбу с ненавистной властью в стенах северной твердыни, исполнившейся на защиту святорусской старины.

Вероучительные споры и догматические разногласия сменились открытой и непримиримой борьбой за веру, в которой разделительная граница пролегла между большинством русского общества, явно или тайно сочувствовавшего защитникам древлеправославия, и — царским правительством, поддержаным высшей церковной иерархией, большинством знати и служилого дворянства.

Ключевым этапом в этой борьбе стало соборное решение защитников древней обители прекратить моление за царя и его семью, а также за патриарха и прочих архиереев, принявших еретические новинки. За молитвой упоминали теперь просто «благочестивых князей и православных епископов», в надежде, что где-нибудь да сохранились сторонники древлеправославного благочестия, имеющие на себе архиерейское преемство.

Оборона монастыря, как и защита православной старины в тех условиях, была доблестным подвигом самопожертвования. Долгая осада, как ни храбры были защитники, какой поддержкой ни пользовались они среди местного населения, объясняется прежде всего нерешительностью царя. А робость Алексея Михайловича была вызвана, по-видимому, с одной стороны, личной суеверной боязнью окончательно расправиться с влиятельным православным монастырем, общерусской святыней, а с другой — осознанием того обстоятельства, что его войска сражаются не только с Соловками, сколько со всей страной, не принял новой обряды.

Так или иначе, но конец в этой трагической осаде должен был наступить. Это произошло в январе 1676 года. К этому времени командование войсками принял Иван Мещеринов, человек крайне низких моральных качеств, что было известно царю и вполне проявилось позже в поступках воеводы, попавшегося на присвоении краденого из монастырской казны. Но такой человек и был нужен для исполнения возложенной на него грязной карательной задачи. Примечательно, что большинство назначенных ему в помощь русских офицеров уклонились от участия в экспедиции по уничтожению Соловецкой обители, и правительство посчитало более надежным направить туда иноземных военных специалистов — майора Келина и ротмистра Буша.

И все-таки монастырь стал жертвой не искусства осаждавших его иноземцев, а измены. Некий перебежчик, монах Феоктист, выдал Мещеринову слабоукрепленное место в крепостной стене. На рассвете 28 января отряд царских солдат ворвался на территорию монастыря. Им удалось открыть ворота и впустить основные силы. Застигнутые врасплох защитники отчаянно сопротивлялись. Многие погибли в воротах, пытаясь остановить нападавших. Людям Мещеринова пришлось брать штурмом монастырские башни, трапезную,

иноческие кельи, где шла упорная борьба с врагами.

Расправа над пленными была чрезвычайно кровожадной и отличалась варварской жестокостью. По приказу воеводы монахов вешали на крюках за ребра, забивали насмерть или волочили привязанными к конским хвостам, вмораживали заживо в лед...

Память соловецких мучеников за веру была окружена в народе большим почитанием.

Старообрядцы составили кондак[17] инокам Соловецкого монастыря, в котором очень ясно выражена духовная суть противостояния: «...Земного царя не послушали есте... И Владыце всех Христу, сыну Божию, молитесь...: “Коль добро и красно, еже быти з Богом”»{47}.

В условиях поругания царем основ старой святой веры православные христиане отказывали ему в повиновении, потому что он терял в их глазах законные права на власть, становился в ряд врагов Божиих. При этом, несмотря на скорбные воспоминания о гибели монастыря и его защитников, их дело воспринималось как духовная победа.

В известном старообрядческом сочинении 1-й половины XVIII века, «Истории об отцах и страдальцах соловецких», о них сказано так: «Мужи чудного и высокаго жития, мужи храбраго и крепкаго терпения, мужи твердаго и непоколебимаго великодушия, храбро и весьма храбро победивши не плотских и не вещественных супостатов, но невещественных мысленных врагов. Мужи, которые за отеческие законы, за церковное Православие отдали плечи свои на раны, спины на удары, уды на раздробление, тела на муки и в конце предались на смерть ради беземертной жизни».

Царь Алексей умер на следующий день после штурма монастыря, так и не узнав об успехе своих воевод. Ничто не предвещало такого конца еще нестарого, полного сил человека. Наоборот, царь чувствовал все больший вкус к приятным развлечениям и светским удовольствиям. Во дворце шили театральные костюмы и под руководством голландских режиссеров готовились к представлению двух «камедий»: «О Давыде з Голиядом» и «О Бахусе с Венусом».

Внезапно царю стало плохо, и его состояние начало стремительно ухудшаться все более. Не помогали ни искусство иноземных лекарей, ни молитвы патриарха. Алексей Михайлович умирал в страданиях, и мысль о судьбе соловецкой обители добавляла ему новых мучений, не оставляя до последнего часа.

Существует описание кончины царя, полное подробностями и деталями, которые могли быть записаны только со слов очевидца. Там говорится, что Алексей Михайлович страшился смерти, с тоской обращаясь к присутствовавшим: «Трепещет и ужасается душа моя сего часа, что по Триоди Судной день именуется».[18]

Потом он впал в забытье и в бреду кричал: «О господине мой, помилуйте мя, умилитсся ко мне, дайте мне мало время, да ся покаюсь!» Его спрашивали с тревогой и слезами: «Царь-государь, к кому ты сия глаголы вещаеш?» Он же рече им: «Приходят ко мне старцы соловецкие и пилами трут кости моя, и всяkim оружием раздробляют составы моя...»{48}

Поняв, что умирает, в отчаянии Алексей Михайлович распорядился немедленно послать гонца с повелением прекратить осаду Соловков. Но его посланец уже в пути повстречал другого гонца, спешившего в Москву с торжествующим сообщением от Мещеринова о разгроме монастыря. Когда оба гонца вернулись в столицу, их встретило известие о смерти царя.

Алексей Михайлович умер в ночь с 29 на 30 января. Царя мучил невыносимый жар, так что, по сообщению голландского резидента Койэта, его поили холодным квасом с плававшими в нем кусками льда, которые он с жадностью глотал. Кроме того, на живот умиравшего клали толченый лед и давали держать в руках по ледяному куску. Вечером в субботу 29 января

царь Алексей «уже не говорил ничего, лише тосковал, и пены изо рта пущал. Да сидя в креслах и умер... Да как преставился, тот же час из него и пошло и ртом и носом, и ушами всякая смрадная скверна, не могли хлопчатой бумаги напасти, затыкая. Да тот же час и погребли»{49}.

Состояние тела умершего действительно не позволяло оставлять его сколь-нибудь долго непогребенным. Вопреки всем обычаям и простым приличиям, царя Алексея похоронили спешно, через несколько часов после смерти. 30 января немногочисленная процессия проводила царские останки из дворца в Архангельский собор. Наследника, царевича Федора, страдавшего очередным приступом болезни ног, несли за гробом в кресле.

## ГЛАВА 4

Опыт беспристрастного изучения церковной реформы патриарха Никона и царя Алексея Михайловича неизменно приводил добросовестных исследователей к выводу о том, что ее необходимость была надуманной, а ход и содержание сфальсифицированными, когда вместо древних книг за образец для исправления брались тексты позднего и сомнительного происхождения. «Книжная справа» и перемена древних обрядов на новые все отчетливее представлялась недоразумением, или того хуже — исторической ошибкой. А знание о последующих событиях, о том раздоре, который внесли необдуманные нововведения в национальное и духовное единство русского народа, невольно заставляло многих историков оглядываться назад, отыскивая те зацепки в прошлом, которые могли, хотя бы теоретически, предупредить трагедию Раскола.

Внешне реформа несла на себе яркий отпечаток индивидуальных устремлений своих создателей — царя и патриарха. В этой связи С.А. Зеньковский, например, пытался задаться вопросом о том, что случилось бы — вернись Никон к «московскому обряду» перед лицом непримиримого противодействия большинства страны и по настороженным своего друга-противника Ивана Неронова{50}.

Однако удивительным образом, с самого начала своего возникновения, церковная реформа и отказ от старого устава сопровождались зрывом трансформацией в незыблемых прежде традициях и нравах, в повседневном быте людей Московского государства. Перемена оказалась столь быстрой и глубокой, что никакая личная воля уже не могла повернуть ничего вспять.

Изменения остро чувствовались современниками. Известны тревожно укоризненные слова протопопа Аввакума, обращенные к родине: «Ох, бедная Русь, что-то тебе захотелось немецких поступков и обычаев!» Для этого беспокойства существовали некоторые явные основания. Кроме обрядов реформа затрагивала многие другие области, повсюду традиционно-русское заменяя привнесенным иноземным.

Новшества проявились и в одеянии русских священников и епископов. Заведенное на новогреческий образец, теперь оно выглядело незнакомым и чужим. Никита Добринин писал в своем опровержении нововведений: «...Святители Христовы меж собою одеждю разделились: ови от них носят латынские рясы и новопокройный клобук на колпашных камилавках, ини же, боясь суда Божия, старины держатся».

Соловецкие иноки в челобитной на имя царя говорят о том же: «Попы мирские, яко Никонова предания ревнители, нарицаемии никонинане, ходят по-римски без скуфей, оброслыми

головами и волосы распускав по глазам, аки паны или опальные, тюремные сидельцы; а иные носят вместо скуфей колпаки черные и шапки кумыцкие и платье все нерусское же. А чернцы ходят в церковь Божию и по торгам без манатей, безобразно и бесчинно, аки иноземцы или кабацкие пропойцы...»

Но раньше и заметнее всего перемены коснулись среды высшей церковной иерархии и царского двора. Об архиереях, принявших нововведения, многих из которых Аввакум знал лично, он писал так: «Да нечему у вас и послушать добруму человеку: все говорите, как продавать, как покупать, как есть, как пить, как баб блудить... А иное мне того и молвить сором, что вы делаете...». {51}

Но это все свидетельства, хотя и искренние, но людей пристрастных, настроенных враждебно к своим противникам, многое от них претерпевших. Однако взаимосвязь отказа от «старой веры», перемен в обрядах и уставе с изменениями в нравах общества, в первую очередь в его высших слоях, очевидна. Французский исследователь эпохи церковного раскола, Пьер Паскаль, не без удивления отмечал быстрое нравственное перерождение Алексея Михайловича: «Казалось, что, отказавшись от старой веры, царь одним махом отбросил и строгость нравов и религиозное рвение». {52}

С каким-то ненасытным желанием царь Алексей окунался в мир новых удовольствий и эстетических вкусов. Ему, очевидно, насекутил тот постыдный образ жизни, который он вел раньше, подчиняясь традиции. Он как будто спешил воспользоваться теми возможностями, которые давало его высокое положение.

Интерес к иноземной культуре и обычаям был подогрет в молодом царе после участившихся контактов с иностранцами еще в то время, когда он считался вероятным кандидатом на польский престол. Алексей Михайлович пытался узнавать об образе жизни, принятом при зарубежных дворах. Послам, отправлявшимся с дипломатическими поручениями в европейские страны, поручалось внимательно следить за тамошними нравами, этикетом, светскими развлечениями и после подробно описывать их в отчетах [19].

Особенную склонность царь испытывал к театральным представлениям, почти совершенно незнакомым в Москве.

Иноземные режиссеры и актеры ставили всевозможные «камедии» для царского увеселения. В основном это были постановки на библейские сюжеты, но, по замечанию В.О. Ключевского, новомодные представления принципиально отличались от прежних, принятых и на Западе постановок, имевших нравоучительный характер {53}. Новые «камедии» имели целью развлечь и рассмешить зрителей, преследовали исключительно мирские задачи, а их содержание не имело ничего общего со старыми мистериями, вроде «Пещного действия» и проч. По словам Ключевского, это были «переводные с немецкого пьесы нового пошиба, поражавшие зрителя страшными сцепами казней, сражений, пушечной пальбой... смешившие... грубыми, часто непристойными выходками» {54}.

То, что еще недавно казалось мерзким и греховным, что указами самого царя Алексея преследовалось на московских улицах и площадях, в то же время было допущено в царские покои. Накануне поста в 1674 году Алексей Михайлович вместе с супругой и детьми, а также избранными боярами «угощался» спектаклем из жизни персидского царя Артаксерса, «после чего немцы... играли на фиолях, органах и на страментах и танцевали».

Вольность в трактовке сюжетов и в обращении с персонажами священной истории, легко принятая при дворе русского царя, смущала даже некоторых иноземцев. В России в это время жило немало протестантов, кальвинистов и пуритан. По сообщению современника, иноземцы, бывавшие при царском дворе, говорили: «Есть, де, в наших странах такие игры, камидиями их зовут, только не во многих верах» {20}. Иные, де, у нас боятся и слышати сего,

что во образ Христов да мужика ко кресту будто пригвождать... и пузырь подделав с кровию под пазуху, будто в ребро прободать... Избави, де, Боже и слышати сего, что у вас в Руси затеяли, таково красно, что иноземцев всех... перехвастали».

Царь Алексей, правда, тоже сперва с опаской предавался новому образу жизни. О допустимости той или иной забавы набожный государь советовался со своим духовным отцом. Но царским духовником стал в это время другой человек, Андрей Савинович Постников, сменивший протопопа Стефана Вонифатьева.

Насколько новый образ жизни царя отличался от прежнего, такая же заметная разница была и между двумя священниками, призванными заботиться о спасении царской души. Она была просто поразительной.

Стефан Вонифатьев отличался строгим благочестием, Вместе с Аввакумом и Иваном Нсроновым он входил в круг боголюбцев, близких к царю в пору его юности, занятых заботой о возрождении и укреплении веры, исправлением нравов мирян и священников. После смерти патриарха Иосифа он отказался от чести принять на себя сан первоиерарха русской церкви, зато завел на свои средства богаделенный дом для странников и бездомных.

Отец Андрей Постников был человеком другого склада. Он отличался любовью к вкусной еде, красивой одежде, дорогой обстановке. Не скучился на средства, полученные из казны, украшать свои жилые палаты и принимать в них многочисленных веселых гостей. Так, в 1670 году, надень своего ангела, для праздничного пира Андрей Савинович получил из дворцовых запасов двух быков и десять баранов...

Нравы нового духовника были настолько далеки от традиционного благочестивого поведения, принятого в русской церкви, что сделали его врагом патриарха Иоакима, ставшего не допускать умножившихся безобразий. Тот много раз уговаривал царя выбрать себе другого духовного отца, но Алексей Михайлович привязался к о. Андрею.

Взаимная неприязнь между духовником и патриархом все усиливалась. Андрей Савинович обладал вспыльчивым характером и воинственными наклонностями. Взбешенный придирками патриарха, он вбежал однажды к царю Алексею и будто бы кричал: «Оружием или какою отравою убий ты ми супостата моего патриарха...» Так и не уговорив своего духовного сына на справку с Иоакимом, о. Андрей попросил дать ему солдат: «Аз же сам управлюсь с патриархом, яко имам 500 воев»!{55}

Царский духовник охотно давал свое благословение на новомодные развлечения Алексея Михайловича, оправдывая их тем, что и византийские василевсы позволяли себе подобное. Мало того, отец Андрей сам принимал неизменное участие в увеселениях и пирамах, случавшихся при дворе. В октябре 1674 года затеяли пиршество накануне праздника Казанской иконы Божией Матери, что само по себе было грубым нарушением правил благочестия, не допускавших светских развлечений перед большими церковными событиями.

Этот пир превзошел все предыдущие вольности и возмутил многих, слышавших о нем. Компания, во главе с «тишайшим» царем и его духовником, веселилась не на шутку. Кроме всего прочего, на ней присутствовали иноземцы. В дворцовых разрядах сказано, что там «играл в арганы немчин, и в сурну, и в трубы трубили, и в сурепки играли, и по накрам и по литаврам били ж во все».

Собравшихся бояр царь щедро угощал хмельным: «вотками, ренским и романею, и всякими питии, и пожаловал их своею государевой милостию: напоил их всех пьяных...»

Образ царского духовника эпохи церковной реформы, Андрея Савиновича, довольно ярко предстает из обвинительного соборного приговора, вынесенного ему после смерти его

покровителя, царя Алексея. Прежнее поведение протопопа было настолько вызывающим, что новый государь, царь Федор, несмотря на недомогание, был вынужден заняться его делом по настоящию патриарха.

Перечень обвинений в адрес этого священника, даже если признать их некоторую предвзятость со стороны судей, может тем не менее служить и характеристикой нравов, принятых при дворе его духовного сына, или, но крайней мере, допустимых в окружении Алексея Михайловича.

Собор обвиняет о. Андрея в том, что он «пианствуяй со зазорными лицы, блудническими песнями услаждаясь... на всяк день в винопитиях и блуждениях, и горше сего скотом немысленным валяся на стогнах прелюбодеяния... со наложницами прелюбодействовавше...»{56}

Другим близким к царю Алексею человеком был боярин Артамон Матвеев, ловкий и опытный администратор, сторонник новых нравов, поклонник иноземных обычаев, друг и покровитель иностранцев при дворе. Он руководит дипломатическими отношениями с европейскими государствами, лично занимается организацией внутренней жизни двора на новый лад, приглашает немецких актеров, заводит труппу музыкантов из своих дворовых людей. Его дом полон иноземных диковинок, украшен западноевропейской живописью.

Матвеев женат в четвертый раз, что, по русским воззрениям того времени, являлось грехом и нарушением христианского образа жизни. Его четвертая супруга — Мэри Гамильтон, шотландка. Вопреки обычаям как бы подразнивая недругов, чета Матвеевых вместе принимает гостей, причем госпожа Матвеева, не стесняясь, сидит за столом вместе с мужчинами, громко смеется шуткам, пьет вино и участвует в общих разговорах, что считалось совершенно неприличным и противоречило национальной традиции.

Борьба с оппозицией церковной реформе была одной из главных забот Л. Матвеева, как ближайшего помощника царя. Во время собора 1666 года он лично приходил в темницу к Аввакуму и другим защитникам старой веры, пытался уговорить их отступиться и признать никоновские нововведения.

Особенно долго он убеждал Аввакума, понимая, что именно несгибаемый протопоп был главной опорой староверия. Матвеев взял себе в помощь придворного ритора и писца Симеона Полоцкого. Этот белорусский монах считался при дворе светилом науки и богословия, был учителем царских детей, обучая их стихосложению и латыни.

Симеон в юности состоял студентом Виленского иезуитского «коллегиума» и представлял собой яркий пример интеллигента — выходца из западных русских земель в составе Речи Посполитой, впитавшего в себя вместе с языком своих преподавателей-иезуитов их мировоззрение и культуру латинского Запада.

Со строгой канонической точки зрения Симеон Полоцкий не был православным, поскольку допускал множество погрешительных мнений и высказываний, противоречивших православному христианскому учению. Даже в своих цитатах он опирается не на перевод Священного Писания, принятый в православной традиции, а на текст Вульгаты — вариант латинского перевода Библии. Он явно отдает предпочтение трудам тех отцов церкви, которые считались признанными авторитетами в католичестве — Августина Блаженного, Иеронима, Григория Двоеслова. Наконец, этот западнорусский богослов открыто исповедовал не Никейский Символ Веры, на котором основано вселенское православие, а символ Апостольский, признаваемый в западной церкви{57}.

При этом ошибочно было бы видеть в Симеоне Полоцком некоего злонамеренного вредителя, едва ли не «диверсанта», имевшего перед собой задачу разрушения русского православия изнутри, как иногда трактуется его деятельность и ему подобных новых людей,

занявших видные места в московской интеллектуальной и церковной жизни. Его появление при дворе Алексея Михайловича и та видная роль, которую он исполнял, свидетельствовали о серьезных и необратимых духовных сдвигах в самой Москве, в высших слоях московского общества, по доброй воле признававших людей, вроде этого ученика иезуитской школы, своими наставниками.

Все особенности своего вероисповедания Симеон свободно и беспрепятственно излагал в книгах, предназначенных не только для открытой продажи, но и в первую очередь для ознакомления царских детей. Патриарх Иоаким, с большим недоверием относившийся к Симеону Полоцкому, говорил про его богословские сочинения, что он сплел их «не из прекрасных цветов богоносных отец словес, но из бодливого терния на Западе прозябшего новшества...»

И такого человека привел с собой Артамон Матвеев в темницу Чудова монастыря уговаривать Аввакума отказаться от старой веры. Беседа была бурной. Матвеев грозил протопопу жестокой казнью в случае отказа принять троеперстие и прочие новинки, Симеон интеллигентно и въедливо риторствовал, спорил о догматах. Аввакум был то спокоен, то в голос бранил своих противников, но оставался непреклонен и богословски неуязвим.

Первым сдался старец Симеон. Вспоминая позже об Аввакуме, он говорил: «Какой острый ум! Но, к сожалению, какое бесконечное упорство!» Упрекая собеседника в «упорстве», Симеон как будто забыл о том, что стойкость в делах веры и преданность ее канонам есть долг всякого христианина. Разве не такое же благочестивое упорство проявляли отцы ранней церкви в борьбе с ересями? Разве не знал старец Симеон истории св. Афанасия Великого, который остался однажды единственным епископом, исповедовавшим православие, в то время когда все остальные иерархи уклонились в арианство?

Симеон Полоцкий и А. Матвеев, споря с Аввакумом, вряд ли проводили столь глубокие исторические параллели. В конце концов, с их точки зрения — к чему призывали они упорного протопопа? Не к отречению от Бога, не к перемене веры, а всего, казалось бы, к незначительному изменению в нескольких обрядах. Но сам облик миссионеров опровергал эти утверждения. Матвеев, старавшийся во всем подражать иноземцам, и латинствующий Симеон были для Аввакума как бы воплощением тех сил, чьи действия привели к варварскому засорению и жестокому поруганию православия, творившихся на его глазах с начала патриаршества Никона и его «реформ».

Спор о способе сложения перстов для крестного знамения, таким образом, переходил узкие обрядовые рамки, приобретал мировоззренческий характер. Протопоп чувствовал, что в руках таких людей, каковы этот лощеный боярин и многомудрый заезжий ритор, необратимые перемены ждут не только внешний обряд, но и само существо веры, того «пресветлого православия», которое светило на Руси на протяжении столетий и которое берегли, как зеницу ока, многие поколения предков.

Символический характер встречи вождя староверов и царских любимцев не мог пройти незамеченным мимо взора внимательных и чутких исследователей. П. Паскаль, автор замечательного труда о протопопе Аввакуме, писал о приходе С. Полоцкого и Матвеева: «Оба эти поклонника современного Запада — первый по преимуществу из-за материальных благ, другой из-за своих богословских знаний и стихотворений — были менее всего способны понять душевное состояние такого человека, каким был Аввакум... Это были два противоположных мира, которые тут столкнулись»{58}.

Но это был конфликт гораздо более глубокий, чем мог быть спор сторонников разных христианских конфессий. Здесь, на перекрестке догматических и обрядовых разногласий, уже отчетливо прояснялись контуры непримиримой и принципиальной духовной несовместимости двух сторон. Ведь очень скоро, по историческим меркам, развитие цивилизации поставит

перед христианами Запада и России вопрос уже не о том, как верить в Бога, а о том — верить ли вообще.

Коренную суть своих разногласий противники, умные и одаренные люди, осознавали безусловно. Недаром Артамон Матвеев, уходя, «всквозь зубов» своих бросил Аввакуму фразу, которая удивительно точно выражает все напряжение и непримиримость их спора: «Нам с тобою несообщно...» \* \* \*

Перемены в царе, его окружении, появление новых вкусов и пристрастий были столь стремительны, что казались защитникам старины времененным помрачением духа. Не умирала надежда на то, что царь одумается и вернется к древнему благочестию.

Аввакум в обращениях к Алексею Михайловичу напоминал ему о прежней жизни, об общих мечтах по возрождению православия, о создании на русской земле истинного христианского царства, устроенного на страхе Божием. Не однажды припоминает Аввакум имя старого царского духовного отца, Стефана Вонифатьева, и то время, когда «все быша тихо и немягко ради его слез и рыдания и негордаго учения».

«Воздохни-то по старому, как при Стефане бывало, добренько, и рцы по русскому языку: Господи, помилуй мя грешнаго», — молил протопоп царя, наслышавшись про его новые увлечения, про скверный нрав его духовника, Андрея Савиновича.

Аввакум то уговаривает царя, то начинает крепко бранить, потом снова переходя на ласковый дружеский тон. Видно, как во время создания письма им овладевают противоречивые чувства, как надежда сменяется отчаянием, а добродушное удивление — гневом. В последнем обращении к Алексею Михайловичу протопоп рассказывает о своем видении, случившемся с ним после долгого стояния на молитве. Упав в изнеможении на пол и лежа в забытьи, он вдруг увидел царя, «стояща умиленна». Обрадовавшись, Аввакум принял было обнимать его, но увидел у него на животе «язву зело велику, исполнену гноя многа». Молитвами и слезами Аввакум принял лечить се, и стал живот царя цел и здрав. Но, повернув Алексея на бок, увидел и на его спине еще большую язву. Плача, Аввакум принял и за нее, но не успел исцелить — «мало мало посошлася и не вся исцеле. И очутихся от видения того, не исцелих тя здрава до конца»{59}.

Поняв свое видение как знамение, с искренней горечью протопоп заключает свое письмо: «Нет, государь, больше покинуть плакать о тебе: вижу, не исцелеть тебе... Ну, прости же, Господа ради. Ты царствуй многа лета, а я мучуся многа лета: и пойдем вместе в дома своя вечныя... Ино там увидимся, на страшном суде Христове, Бог изволит. Аминь»{60}.

Царь не отвечал протопопу, но, конечно, читал его письма. Возможно, что искренние и простые слова увещевания, обращенные к нему из земляной тюрьмы Пустозерска, тревожили его душу. Алексей Михайлович был человеком, не лишенным сердечной чуткости, радости и горести переживал с частыми слезами на глазах. Читая обращения Аввакума — чувствовал ли он сам невосполнимую горечь утраты того чистого и светлого времени, которому он изменил, следя своим похотениям и советам льстивых друзей?

В марте 1669 года умерла царица Мария Ильинична. С ее кончиной рвались последние связи царя с прежней жизнью, отношениями и обязательствами. Следующие шесть лет жизни этого государя стали торжеством нового духа, утвердившегося при дворе и в нравах его обитателей.

Мария Милославская была последней царицей в русской истории, безусловно следовавшей всем старомосковским традициям. Все последующие государыни различно отличались от нее в этом смысле, за исключением разве что Евдокии Лопухиной, процарствовавшей, впрочем, слишком недолго до своего пострижения в монахини. Мария Ильинична вела замкнутую жизнь, ограниченную своими покоями, прогулками в саду царского

дворца и поездками на богомолье. Когда ей случалось проезжать по городу, то окна ее возка были наглухо завешены, а в то время, как она входила или выходила из церкви — пространство вокруг нее закрывали тканью, чтобы скрыть царицу от чужих и, возможно, недобрых глаз.

По существовавшим издревле воззрениям, главной целью и смыслом жизни царицы являлось рождение детей, в первую очередь наследника престола. Мария Милославская родила своему супругу за 22 года замужества тринадцать детей.

Она была искренне и глубоко религиозна, отличалась благочестием, и, соблюдая во всем остальном приличную жене перед мужем скромность и послушание, не боялась, однако, вступаться за неправедно обижаемых или казненных. Аввакум с благодарностью вспоминал о Марии Ильиничне, защищавшей протопопа и других староверов перед царем: «В то время велико нестроение вверху у них бысть с царицею покойницею: она за нас стояла тогда, миленькая, напоследок и от казни отпросила меня». Ее смерть причинила Алексею Михайловичу горе. Он соблюдал траур и даже сочинил в ее память «новый распев религиозного гимна»{61}.

1669 год вообще выдался тяжелым для царя. Тогда, кроме жены, умерло еще двое детей: младенец царевна Евдокия и четырехлетний Симеон.

Но трагедия в царской семье была лишь звеном из целого ряда бедствий, сыпавшихся на Московское государство подобно «казням египетским». 1669 и следующий, 1670 год — выдались неурожайными. Царю писали в челобитных из разных мест, прося помощи: «Учинился хлебу большой недород, и многие люди из домов своих разбежались и помирают голодом... Стало оскудение велико». Другим несчастьем, помимо голода, были громадные пожары, испугавшие не столько трагическими последствиями, сколько причинами своего происхождения. Не от чего иного, а от ударов молнии погорели почти целиком множество городов, среди которых такие крупные центры, как Ярославль и Нижний Новгород. Пожар в Москве уничтожил едва не больше половины столицы.

Но не прошло и нескольких месяцев после смерти супруги, как царь завел близкие отношения с одной из придворных дам, замужней женщиной, женой комнатного стольника Алексея Мусина-Пушкина{62}. От этой связи родился сын Иван, которого Алексей Михайлович иногда открыто именовал: «мой сын Пушкин»{63}. Хотя в дате рождения Ивана Алексеевича Мусина-Пушкина существуют некоторые расхождения, позволяющие усомниться в его появлении на свет именно в это время, все-таки невозможно игнорировать указания, подтверждающие его происхождение от незаконной связи царя[21].

Иван Мусин-Пушкин за короткое время сделал блестящую карьеру, молодым был пожалован боярством и «участвовал в придворных церемониях наряду с членами царской семьи»{64}. Впоследствии, при Петре, он был одним из самых близких к нему людей, обладавших большим влиянием, стал первым сенатором и всегда был окружен вниманием и уважением, которые можно назвать исключительными.

Однако, несмотря на временные увлечения, Алексей Михайлович решил заново жениться, и с ноября 1669 года начались официальные смотрины по выбору царской невесты. Этот увлекательный процесс не остановила даже новая трагедия в семье царя Алексея. В начале 1670 года умер наследник, 16-летний царевич Алексей Алексеевич. А в апреле было объявлено имя будущей царицы — Натальи Нарышкиной.

Еще до свадьбы по Москве распространились неприятные для царя слухи о том, что его избранница, дочь стрелецкого полковника Кирилы Полуектовича Нарышкина, девица не самых строгих правил. Говорили, что во время службы ее отца стрелецким головой в Смоленске она даже имела связь с неким польским дворянином.

Слухи довольно быстро пресеклись, когда некоторым любителям посплетничать вырезали языки и выпороли кнутом. Но характер новой царицы, ее манеры и образ жизни все-таки здраво отличались от ее предшественниц. С первых шагов во дворце она начала смело испытывать на прочность старые обычаи, показывая свое нежелание жить затворницей. Резидент герцога тосканского Яков Рейтепфельс сообщал своему патрону о новой супруге Алексея Михайловича: «царица Наталья... по-видимому, склонна пойти иным путем, к более свободному образу жизни, так как, будучи сильного характера и живого нрава, она отважно пытается внести повсюду веселение. Это можно было уже предсказать по выражению лица ее, когда мы имели случайно счастье видеть ее еще в девицах два раза в Москве».

Наталья Нарышкина обладала, по-видимому, яркой и запоминающейся внешностью. По описаниям того же современника, девятнадцатилетняя царица была «роста выше среднего, с черными глазами на выкате, лицо у нее кругловатое и приятное, лоб большой и высокий, и вся фигура красива, отдельные члены тела крайне соразмерны, голос, наконец, приятно звучащий, и все манеры крайне изящны».

Будущая мать Петра Первого некоторое время жила воспитанницей в доме дальнего родственника, скорее — свойственника, Артамона Матвеева. Это обстоятельство, а также внешние данные девушки стали залогом того, что царь обратил благосклонное внимание именно на «племянницу» своего любимца.

Жизнь у четы Матвеевых, явно ориентировавшихся в своих вкусах и привычках на иноземцев, не могла не отложить отпечатка на мировосприятие Натальи Кирилловны. Оказавшись хозяйкой во дворце, внутренний быт которого уже был нарушен последними церковными нестроениями и появлением людей с новыми эстетическими взглядами, молодая царица тем с большей легкостью могла пренебрегать прежними условиями и обременительными ограничениями.

Именно здесь берет свое начало та самая «людскость», иначе говоря — светскость, введение которой с таким воодушевлением приветствовали историки XVIII—XIX веков и в большинстве своем приветствуют до сих пор их преемники. Но в действительности эта перемена означала в первую очередь падение нравов в высших слоях общества. То, что считалось раньше грехом и распутством, благодаря понятию «людскости» становилось всего-навсего галантностью, достоинством из числа не просто терпимых, но непременных для придворного кавалера.

Одной из первых жертв «людскости» стал сам реформатор Петр. До самой смерти императора мучили настойчивые слухи о том, что на самом деле он не является сыном царя Алексея. Упорно передавали за верное, что Наталья Кирилловна родила сына от связи с Тихоном Стрешневым.

Но здесь важна не сама сплетня. Толки о незаконном происхождении того или иного царевича были достаточно обыденным делом. Важно, как именно она была сплетена. При сомнениях в происхождении Алексея Михайловича, например, никому и в голову не приходило говорить о прелюбодеянии царицы Евдокии Лукьяновны. Это было немыслимо, ни практически, ни теоретически почти невозможно. Толковали, что царевич Алексей «подметный», т.е. подмененный ребенок. Во второй половине столетия нравы переменились.

Но и среди высшей знати не все были готовы в одночасье предать дедовские обычаи и благочестие в угоду новым вкусам. При дворе Алексея Михайловича существовала консервативная оппозиция, включавшая в себя представителей многих древних и влиятельных родов.

На первых порах эта оппозиция была не слишком активной. Только впоследствии она выплеснулась в нескольких ярких вспышках открытого противостояния, как случилось во

время стрелецкого бунта под руководством князя Хованского, или еще позднее в антипетровском заговоре братьев Пушкиных и Соковниных.

Но в большинстве случаев боярство выступало не столько против церковной реформы, довольно легко отказавшись от двоеперстия, сколько против перемен в традиционном укладе жизни, против иноземных нравов при дворе и вообще увеличения числа иностранцев.

Ошибочно было бы полагать, что люди, принявшие перемену обрядов, все вдруг стали западниками. Многие искренне были уверены в том, что можно оставить все по-старому и с новым церковным уставом. Консерваторы не только противостояли покушениям на традиционные устои русской жизни, но временами переходили в успешное контрнаступление. Огромных усилий стоило Артамону Матвееву в 1674 году отклонить настойчивое требование многих бояр, во главе с князем Ю.Л. Долгоруковым, высказать из России всех иностранных резидентов.

Придворным западникам, таким как Матвеев, постоянно приходилось отбивать атаки консерваторов, нападавших на любые проявления иностранного влияния. Но в 1675 году усилия защитников старины увенчались успехом. Стараниями патриарха Иоакима вышел царский указ, серьезно ограничивавший распространение иноземных обычаяев. Под страхом строгого наказания и церковного взыскания воспрещалось носить иностранную одежду, «немецкие» кафтаны, прически, брить усы и бороду.

Консерваторы могли праздновать победу, не осознавая всей ее иллюзорности. Для успешного противостояния соблазнам иноземной культуры, проникавшей во все области частной и общественной жизни, надо было обладать более действенным оружием, чем запретительный указ. Но что могли противопоставить начавшемуся вторжению мощной западной цивилизации люди, всенародно признавшие собственную церковную старину еретическим заблуждением, публично проклявшие и отказавшиеся от нее, объявили русских святых и царей, живших до реформы, «грамоты не знавшими», глупыми, темными людьми?!

Очень скоро непоследовательное сопротивление консерваторов будет задавлено уже окончательно, а сами они поспешат встать в ряды самых горячих сторонников новой культуры.

Исповедовавших древлеправославие людей среди знати было не так уж и много, и уж тем более никто из них не решался открыто осуждать церковных нововведений. Только две женщины встали непреклонно на защиту старой веры, устыдив подвигом мученичества малодушных.

Боярыня Феодосья Морозова и ее сестра, княгиня Евдокия Урусова, не приняли троеперстия и прочих обрядовых новин, как и кощунственной хулы греческих иерархов на древлеправославные каноны. Они последовательно и стойко отказывались от любых компромиссов со светскими и церковными властями, были разлучены с детьми, лишины достояния, подвергнуты пыткам и, в конце концов, уморены голодом в монастырской земляной тюрьме.

Богатый дом Морозовой в Москве был настоящим староверческим кремлем, куда сходились все нити церковной оппозиции — оказывалась материальная помощь единоверцам, покровительство гонимым. Но самое главное — отсюда поддерживалась связь с пустозерскими отцами, с Аввакумом и его соузниками, переписывались во множестве списков и распространялись по стране их духовные наставления.

Открытый конфликт с царем у Феодосьи Морозовой произошел в январе 1671 года, когда она отказалась участвовать в свадьбе Алексея Михайловича с Нарышкиной, где должна была исполнять придворные обязанности при невесте. Сославшись на болезнь, боярыня осталась

дома. В действительности она уже и не могла выполнить волю царя. Морозова решила покончить с обременявшей ее душу раздвоенностью, которую испытывала все эти годы, не порывая явно с царским двором и невольно разделяя то, что там происходило. В декабре 1670 года Феодосья Прокопьевна тайно приняла монашеский постриг под именем Фсодоры от игумена Досифея, одного из непримиримых противников новообрядчества.

Восприняв отказ боярыни явиться на свадьбу как личный вызов, царь Алексей был в ярости, но не спешил с карательными действиями. Он только мрачно произнес тогда: «Тяжко ей братися со мною — един кто от нас одолеет всяко...»

История обреченнного, но несгибаемого подвижничества за веру Фсодоры Прокопьевны Морозовой подробно и трогательно изложена в источниках[22], а также повторена в большом количестве позднейших произведений о церковном расколе, поэтому нет смысла останавливаться в очередной раз на последовательном изложении событий. Здесь важно обратить внимание на то, как смотрели на существование противостояния одна и другая стороны конфликта.

С самого начала церковных преобразований в позиции царя и его окружения проявляются два примечательных обстоятельства: непримиримое преследование противников реформы, вплоть до соборного проклятия двоеперстия и всех придерживающихся его как величайшей ереси — и, одновременно, практически полное безразличие, на грани пренебрежения, к нововводимым обрядам. Это по меньшей мере странное отношение проявилось еще в словах Никона, бросившего своему помощнику в порче древлеправославных текстов, Арсению Греку: «Правь, Арсений, как хочешь, лишь бы не по-старому!..»

Точно такую же позицию демонстрирует и царь Алексей. Видя, что никакие преследования не способны испугать защитницу древлеправославия, Алексей Михайлович понял, что единственный способ заставить ее замолчать — попросту убить. Но по ряду причин он долго не мог решиться на этот последний шаг. Странно все-таки было представить себе казнь знатнейшей аристократки, родственницы многих бояр, заседавших в царской Думе, не чужой и царскому дому. Кроме того, не хотелось умножать и число мучеников старой веры в глазах народа. Дойдя до края, испробовав лютые пытки, разные способы психологического воздействия, лишив Морозову всего имущества, царь вдруг остановился и решил изменить тактику. Он пробует уговорить мятежницу. Для этого к ней постоянно приходят то священные лица, то родственники, предлагая от имени царя фактически сделку.

Они передают слова Алексея Михайловича: «Дай мне таковое приличие людей ради, что аки недаром тебя взял: не крестися тремя персты, но точию руку показав, наднеси на три те перста!..»

Двоюродный брат Морозовой, Федор Ртищев, также уговаривает ее: «Сестрица, потешь царя того и перекрестися тремя перстами, а втайне, как хощешь, так и твори. И тогда отдаст царь холопей и вотчины твоя».

А новые посланники из дворца не скучились на еще более заманчивые обещания Алексея Михайловича: «Мати праведная Феодосия Прокопиевна! Послушай, аз пришлю по тебе капитану (карету) свою царскую и со аргамаками своими, и приидут многие боляре, и понесут тя на головах своих...»

Царь как будто искренне не понимает, что занятая им позиция странно выглядит с точки зрения верующих людей. Он откровенно признает, что для него не имеет никакого значения не просто то — как молится, но и как по-настоящему верует тот или иной человек. Его волнует только одно «приличие» — внешняя лояльность режиму. Здесь Алексей Михайлович изменяет всей традиции русских государей, считавших душевное спасение подданных своей главной обязанностью, за что они должны дать личный ответ перед Богом. Из мироощущения

царя Алексея очевидным образом исчезает искренняя религиозность, и ей на смену приходит казенное желание «порядка», безотносительно того, на какой основе он утверждается — канонической или нет. Спор Феодосии Морозовой и царя — это спор не о вере, а снова, как и в столкновении Аввакума и А. Матвеева, — противостояние веры с начинающимся безверием.

Не говоря о том, что сам факт соблазнения подвижницы образами мирского величия, нарисованными по царскому приказу перед инокиней Феодорой, должны были служить в глазах современников не в пользу царя.

Внутреннее перерождение Алексея Михайловича было действительно очевидным и глубоким. С ним произошло то, что обычно называется «обмирщением» сознания. По эмоциональному, но очень точному замечанию П. Паскаля: «Несчастный был теперь уже совершенно не способен понять сомнения и чаяния тех, кто в его глазах были отныне лишь невеждами, упрямцами и мятежниками»<sup>{65}</sup>. Царь Алексей так скоро и невозвратно оторвался от всей древнеправославной духовной традиции, что ответ инокини мог не устыдить, а только раздражить его. Феодора в горьком недоумении проговорила: «Оле глубокаго неразумия! О великаго помрачения! Доколе ослепосте злобою?.. Каптано мя своею почитает и аргамаками!.. Аще-де и умру, не предам благоверия! Издетска бо обыкла почитать Сына Божия и Богородицу, и слагаю персты по преданию святых отец, и книги держу старые; нововводная же вами вся отмещу и проклинаю вся!.. Аз бо о имени Господни умрети есть готова!»

В православной Москве середины XVII столетия повторялся тот духовный кризис, который уже пережил западный христианский мир дважды — в период «Возрождения», когда громко и властно заявила о себе культура, свободная от «страха Божия», и в эпоху после кровопролитных религиозных войн XVI — начала XVII века, когда из перегоревшего пуританского воодушевления возникли и стали определяющими приметами жизни: материализм, буржуазные ценности, религиозный индифферентизм и секуляризация сознания.

Обмирщение всего московского общества шло очень быстро. И правительство, и обыватели забыли, что само присутствие иноземцев и знакомство с их культурой было только временной вынужденной мерой, что цель состояла в наверстании технического отставания. Но этой утилитарной задачи как раз и не было еще выполнено, когда стало покрываться трещинами все нерушимое веками здание «пресветлого православия». Иностранцы со всех концов света беспрепятственно прибывали и прибывали в Москву, привозя все новые диковинки, отвлекавшие москвичей от аскетических обычаем предков, пробуждая новые мирские вкусы.

Иноземное становится модным. Несмотря на робкие правительственные запреты, люди Московского государства активно заимствуют у иноземцев бытовые привычки, манеру одеваться, строить и украшать жилище. Да и какие запреты могли иметь действие, если было известно, что сам царь Алексей устраивает у себя «вверху» пирушки под немецкую музыку, что царских детей учат латинскому языку и одеваются в иноземное платье? Что новый царь, Федор Алексеевич, тайно ездит в Немецкую слободу посмотреть своими глазами на обычай иностранцев, на особенности их быта...

Определяющей чертой культурной жизни Москвы этого времени становится культура барокко. Невольно подчиняясь слишком сильному еще влиянию старой русской традиции, новый стиль значительно адаптируется к местным особенностям. Он лишен здесь самых ярких форм своего выражения, в которых стал известен на Западе. Умеренность и сдержанность — таков боевой девиз, под которым культура испорченных нравов, порока и антицерковности проникает в русские пределы.

Но это только времененная тактика. Еще те, кто родился в Москве до реформы Никона и кто

доживет до начала нового века, застав его первое десятилетие, будут иметь возможность посмотреть своими глазами на перерождение нравов в отечестве.

Однако и на первых порах перемены были достаточно заметными. Менялся облик прежней архитектуры — начало так называемого «московского барокко», предвестника безжалостного вторжения чужого архитектурного стиля, уничтожившего в конце концов все следы традиционного облика жилых зданий и церквей в России.

В иконописи происходил отказ от старых традиций аскетического письма в угоду новым вкусам, превратившим священные изображения для молитвы, создаваемые по строгим древним канонам, в досужее и праздное развлечение для глаз, ничем не отличимое от светской живописи.

В это время появляется большое число переводных историй, среди которых преобладают рыцарские романы и любовные приключения. Они совершают переворот в чтении жителей Московского государства, революцию в самом отношении к литературе. Как и перемены во всех остальных областях быта и культуры, теперь чтение обретает в первую очередь функцию развлекательную. Книгу приобретают для «прохлаждения», для того, чтобы удовлетворить досужее любопытство, «потешиться». Этой же цели служит украшение текстов иллюстрациями-лубками. Сами заглавия манят читателей такими эпитетами к повестям, как «дивная» или «удивления достойная».

Утрачивается старое отношение к книге, вне зависимости от того — печатная она или рукописная, как к духовному наставнику, источнику благочестивых познаний для укрепления в вере. Ревнитель старины, стольник Иван Бегичев упрекал размножившихся любителей «легкого чтения»: «Все вы кроме баснословные повести, глаголемые еже о Бове королевиче и мнящихся вам душеполезные быти, иже изложено есть от младенец, иже о куре и лисице, и о прочих иных таковых же баснословных повестей и смехотворных писм, — божественных книг и богословных дохмат никаких не читали...»{66}. Эти перемены не могли не тревожить людей, предвидящих, что новшества не остановятся, будут развиваться до тех пор, пока окончательно не уничтожат прежнюю религиозную культуру.

Намечается ослабление в людях родового чувства, крепкого до той поры. Утрачивается память о прошлом семьи и духовная связь с предками. Это прослеживается по поминальным записям, подаваемым в церковь или монастырь для поминания душ усопших родственников. В отличие от записей, относящихся ко времени до середины XVII века и содержащих нередко перечни предков до отдаленных колен — в 200 и более лет, поминания конца столетия уже ограничиваются, как правило, только ближайшими родичами, именами дедов{67}.

Все эти трансформации традиционных начал культуры и быта коснулись в первую очередь знати и царской семьи, а также городских обывателей, хотя далеко не всех. В.О. Ключевский писал об этом: «Любопытно следить за московскими верхами, как они падко бросаются на иноземную роскошь, на привозные приманки, ломая свои старые предубеждения, вкусы и привычки»{68}.

Короткое царствование Федора Алексеевича стало настоящим прорывом в перемене «вкусов и привычек» знати. Еще С.М. Соловьев придавал этому времени чрезвычайное значение, считая, что именно тогда Россия, в лице своего правительства, как бы решительно повернулась лицом от Востока к Западу. Однако вряд ли такой шаг можно приписать на долю слабого царя Федора, большую часть своего правления не выходившего из покоя ввиду бесконечных недомоганий. Его личные пристрастия были, конечно, на стороне новых нравов. Все его окружение представляло собой талантливых людей нового склада, причем и сам молодой царь не был заурядной личностью. Даже Аввакум отзывался о Федоре, что он «летами молод, да разумом стар». Но все-таки не он был инициатором этого революционного перелома, который начался много раньше и в лице Федора Алексеевича и его друзей

встретил только доброжелательных помощников для своего развития.

При Федоре усиливается и углубляется полонизация русской культуры. Вся жизнь этого царевича была причудливо связана с Польшей. Он воспитывался под руководством Симеона Полоцкого, мировоззрение и вкусы которого были сформированы польским католицизмом. Некоторое время рассматривалась возможность женитьбы Федора на вдове польской королеве и занятие им польского престола. Этот проект был особенно близок сердцу новой царицы, Натальи Кирилловны, которая, удалением старшего наследника из России, надеялась освободить дорогу к русскому престолу для своего недавно родившегося сына, Петра.

Брак с королевой не состоялся, но женился Федор все-таки на полячке. В июле 1680 года состоялась свадьба царя с Агафьей Грушецкой, дочерью обрусовшего польского шляхтича.

Молодая полячка была хозяйкой во дворце только один год, до своей смерти в 1681-м. Но ее эмансилирующее влияние на обычай и моду при дворе оказалось еще ощутимее, чем известной свободой своих нравов предшественницы, вдовы царицы Натальи Нарышкиной, вынужденно удалившейся тогда в Преображенское.

Грушецкая решительно взялась за преобразование двора болезненного супруга по своему вкусу. По сообщению современника, ее соотечественника, царица настояла на том, чтобы отныне разрешено было «брить бороды, носить сабли сбоку и одеваться в польские кунтуши»{69}.

Сама царица Агафья предпочитала древнерусским одеяниям платья по европейской и польской моде. Ее примеру очень скоро последовали женщины из царской семьи и придворные боярыни. По свидетельству того же поляка, царевна Екатерина Алексеевна «носит платье и шапку в польском вкусе, забросила московские кафтаны, перестала заплетать волосы в одну косу. Царевна Мария... одевается по-польски».

Но снова следует помнить, что распространение подобных новшеств нельзя приписать одной царице. Еще в 1676 году, в самый разгар действия «антииноземного» указа, явившегося как результат охранительных усилий патриарха Иоакима и бояр-консерваторов, переписные книги фиксируют существование в Москве, в Мещанской слободе, множества мастеров, специализирующихся на изготовлении одежды по иноземным образцам. Удовлетворяя растущему спросу, эти мастера делали окольши шапочные «на немецкую руку», «немецкое платье», «шапки... сапоги и башмаки немецкие», чулки «польские»{70}.

В октябре 1681 года выходит царский указ, который многими историками рассматривается и рассматривается до сих пор, как настоящая реформа в придворной одежде. Как бы то ни было, но последствия указа, которым отменялись такие древние формы придворной одежды, как опашни, ферязи и охабни, были очень значительны. Сама реформа проводилась неожиданно жесткими, прямо петровскими методами. В кремлевских воротах стояла стража, насильно раздевавшая тех, кто приходил в старинных костюмах. «И со многих людей в Кремле городе по воротам, и с дворян, и с подъячих охабни и однорядки здирали и клали в караульню до указу».

Наступление на традиционное русское платье скоро распространилось и за пределами дворца. Иноземец Шлейсингер, приехавший в Москву через четыре года после указа о перемене придворного платья, так передавал свои впечатления от повседневной одежды москвичей: «Некоторые еще ходят по старому русскому обычаю... некоторые — почти так же, как и поляки...»

Любопытно выглядит художественное убранство внутренних покоев царского дворца. В личных комнатах Федора на стенах соседствуют «...Образ Воскресения Христова на большом полотне, Распятие Господне, и на полотне ж персона царя Алексея Михайловича...

да персона французского короля, да короля польского...»{71}. С одной стороны, здесь представлено смешение двух культурных традиций, соседство старого и нового, еще не решивших друг с другом окончательно спора о первенстве. Но многие приметы говорят за то, что это только временная заминка, и не оставляют никакого сомнения в исходе.

Прежние вековые традиции, национальные обычаи оказались в царствование Федора в таком приниженнном положении по сравнению с поднимавшей голову новизной, что это стало пугать даже людей, в принципе сочувствовавших движению к переменам. Друг и ученик С. Погоцкого, сторонник внедрения в России светского образования по западному образцу Сильвестр Медведев, так отзыается о годах царствования Федора Алексеевича: «Презирая искусственных мудрых и в старости сущих людей, всякие новые дела в государстве... покусишаясь вводити, иноземским обычаям подражающе».

В 1682 году было отменено местничество, представлявшее собой древнюю систему служебных отношений между придворными, при которой назначение человека на ту или иную должность не могло произойти даже по личному желанию царя, а исключительно в соответствии со служебным положением предка назначаемого. В самом упрощенном виде местничество можно описать таким образом: например, если назначались воеводами в один полк два человека, князь Воротынский и князь Ромодановский, то нельзя было сделать Ромодановского главным воеводой над Воротынским, если отец Ромодановского был в свое время в подчинении у отца Воротынского, что подтверждалось записями в служебных книгах.

Но существовало множество дополнительных обстоятельств, часто весьма запутывавших эти служебные счеты, поскольку местничество было основано на древней родовой иерархии, при которой все члены семьи находились в строго определенных отношениях друг с другом. Братья, дяди, племянники, двоюродные братья были не просто родственниками, равными людьми, но «считались» старшинством. Древний лествичный счет утверждал такую иерархию, по которой после отца старшим в семье становился следующий по старшинству брат, и так далее, до четвертого брата. Затем вступало в силу правило: «старшего брата сын четвертому дяде в версту» — иными словами, равен ему. Когда исчерпывался круг поколения отца и его братьев, старшинство в роде переходило к старшему сыну старшего брата, затем к старшему сыну второго брата отца...

На этой старинной родовой «лестнице» было основано местничество. Со временем система счетов запутывалась. Дворцовым дьякам приходилось раскрывать разрядные записи, в которых отмечалась служба предков за последние иногда сто и более лет, и смотреть, какой же род был все-таки «больше» в служебном отношении. Но московские знатные семьи были многочисленны, дробились на множество боковых ветвей, и дьякам нужно было учитывать в своем приговоре все это многообразие служб.

Но все же местничество, несмотря на сложность практического применения, имело важное символическое значение — прямой осозаемой связи с предками, высоко поднимало значение семьи и рода в жизни человека. Отмена местничества, упростив назначение на должности, убила еще одну древнюю традицию. Вряд ли случайным оказалось хронологическое совпадение уничтожения местничества и уже упоминавшегося сокращения поминальных записей, когда в поминаниях конца XVII века остались имена только ближайших родственников, а все поколения более дальних предков были исключены и из церковных поминаний, а скоро и из семейной памяти.

С отменой местничества были демонстративно сожжены старые разрядные книги, хранившие в себе перечни старинных боярских служб. Вместо них молодой царь распорядился составить первую Родословную книгу, в которую следовало включить сведения об истории происхождения знатных придворных родов. Данные должны были подавать сами дворяне. Книга заполнялась постепенно, но примечательно, что в ней все «благородные» русские фамилии показали своим предком — иноземца. Семейные «корни» оказывались

разнообразными, и дальность их распространения за русские пределы была ограничена только фантазией тех, кто подавал записи в родословец. На самом деле, конечно, эти легенды не имели никакого исторического основания, и абсолютное большинство служилого дворянства происходило от национального корня. Но тенденция была очевидной: атмосфера при дворе делала предка-татарина или прадеда-чухонца предпочтительнее пращура русской крови.

Одной из заметных знаковых перемен в жизни высшего класса при Федоре стало и введение дворянских гербов. Оно также было следствием начавшегося подражания Западу, и главным образом Польше. Русское дворянство становилось «шляхетством», как его и будут официально именовать в следующем, XVIII столетии.

Но это подражание имело гораздо более глубокие последствия, чем переодевание из охабней в кунтуши и заведение новомодных гербов на воротах. Начинался непреодолимый разрыв между высшим сословием страны и народом. Дворянство создавало для себя психологическую основу для нового взгляда на народную массу — не как на соотечественников, единоверцев, братьев по крови и по вере, а как на рабов, двуногий скот, существующий лишь для того, чтобы обслуживать «благородного» человека.

Переименовавшись в «шляхетство», русское дворянство и русскому народу скоро присвоит новое имя, также заимствованное из польского языка — «быдло».

Семилетнее правление царевны Софьи стало дальнейшим углублением полонизации и вестернизации России. Фаворит и ближайший сподвижник правительницы, князь В.В. Голицын был настоящим русским западником нового типа. Его склонность к иностранной культуре, польской и западноевропейской, носила уже характер не случайного подражания, как у людей прошлого поколения, а сознательного заимствования и освоения.

Дворец «Великого» Голицына с его внутренним убранством был уже не эклектичным собранием ярких иноземных диковинок, а напоминал, скорее, жилище западноевропейского вельможи. Сами иностранные гости князя считали его дом одним из лучших и великолепнейших во всей Европе. Вот как описывает его на основании данных современных источников историк В.О. Ключевский: «...в больших залах простенки между окнами были заставлены большими зеркалами, по стенам висели картины, портреты русских и иноземных государей и немецкие географические карты в золоченых рамках; на потолках нарисована была планетная система; множество часов и термометр художественной работы... У Голицына была обширная и разнообразная библиотека из рукописных и печатных книг на русском, польском и немецком языках...»{72}.

В.В. Голицын был ярким и талантливым государственным деятелем, он планировал разнообразные социальные преобразования, которые, возможно, могли принести значительную пользу. Беда заключалась в том, что источником вдохновения и образцом для подражания служили ему история и современность чужих земель, а не собственной родины. Он всячески стремился расширить влияние иностранцев в России, хлопотал о том, чтобы знатные москвичи посыпали детей учиться на Запад. Иными словами, все свои добрые намерения он строил на том, чтобы сделать русских людей как можно менее похожими на самих себя, превратить их в некое подобие иноземцев на русской почве. \* \* \*

Движение правительства и высшего сословия прочь от русской старины сопровождалось усилением гонений на защитников древлеправославного церковного устава. От царствования к царствованию карательные меры все усиливались, но не носили характера продуманной системы, пока не были узаконены в официальном указе и, по совместительству, подробной инструкции — так называемых «12 статьях» царевны Софьи.

«Раскольников», как стали в государственных документах именовать тех, кто не принял церковной реформы, предписывалось «сжигать в срубе». Раскаявшихся и изъявивших

покорность властям и иерархии новообрядческой церкви отправляли в монастыри на покаяние и под крепкое наблюдение. Бессемейных велено было держать там до смерти, а прочих отпускать «по исправлении» домой. Однако в случае их повторного уклонения в раскол, а также тех, кто был повинен «в совращении в раскол» людей, крещенных в новообрядческой церкви, велено было сжигать без милосердия. Все их имущество, поместья и дома, торговые заведения и прочее отписывалось на царское имя. Кнуту и ссылке на окраины государства подлежали те, кто помогал скрываться церковным мятежникам.

В действительности власти на местах проявляли значительно больше жестокой фантазии и непримиримости в отношении к обвиненным в расколе. Нередко инициаторами и вдохновителями казней были епископы и другие представители церкви. Историк XIX века Л.С. Пругавин так описывает эти «воспитательные меры»: «Беспощадные пытки, бесчисленные мучительные казни следуют длинным беспрерывным рядом... ссылали, заточали в тюрьмы... пытали и жгли огнем... рвали ноздри, вырезывали языки, рубили головы на плахах, клещами ломали ребра, вешали, сажали на кол, четвертовали, выматывали жилы»...{73}

Преследование «расколщиков» превратилось в одну из важнейших задач внутренней политики. Военные команды отправлялись на поиски потаенных скитов и поселений староверов. Тех, кто не желал признать нового обряда, сжигали в собственных домах. Проявивших слабость развозили по городским и монастырским тюрьмам, где люди умирали от голода и холода. Но худшей бедой для тех, кто хотел остаться верным древлеправославному уставу, было насильственное причащение таинствам новообрядческой церкви, которую они считали еретической. Поскольку, по учению церкви, причащение от еретиков есть не что иное, как осквернение, прямой путь к душевной погибели.

Подобно мученикам первых веков страшась духовной смерти сильнее телесных страданий, многие христиане предпочитали путь самосожжения. Карательные отряды правительственные войск, приходя к месту «раскольничьего» поселения, нередко заставали на его месте только дымящееся пепелище.

Видя примеры такой духовной стойкости, светские и церковные власти должны были признать, что меры устрашения оказывались неэффективными. Надо было искоренить сам источник смуты — заткнуть рот пустозерским отцам.

Заключение в земляной тюрьме за полярным кругом, помимо ожиданий, не принесло никаких результатов. По всей стране ходили списки поучений и проповедей Аввакума и его соузников, на них ссылались тысячи арестованных староверов. Одним из самых значительных сочинений той поры стал «Ответ православных», написанный дьяконом Федором в соавторстве и совете с остальными отцами, Аввакумом, Епифанием и Лазарем, и представлявший собой убедительные и неопровергимые доказательства догматической правоты защитников древлеправославия от никоновских новшеств.

Тогда, еще при царе Алексее Михайловиче, решили повторить казнь. В Пустозерск приехал воевода Елагин. Лазаря, Епифания и дьякона Федора вывели из их темниц на площадь, где палач снова резал у них уцелевшие от прошлой расправы куски языков. Кроме того им всем обрубили правые руки поперек ладони. Символический смысл казни был очевиден — лишить старцев возможности духовного учительства.

Но расчет снова оказался неверен. Мучение не сломило подвижников веры. Лазарь еще с помоста бросил в народную толпу окровавленное полотенце, которым унимал кровь изо рта и руки, к удивлению и ужасу собравшихся проговорив довольно внятно и громко: «Возьмите домам вашим на благословение!»

Оправившись после причиненных им страданий, эти несгибаемые люди вновь продолжили дело защиты веры. Они поистине изумляли духовной стойкостью. Сидя в холодном срубе,

иногда по колено в воде, с загноившимися ранами, они не только находили возможность и силы писать, но добровольно накладывали на себя крайне суровые испытания.

В Великий пост 1671 года все четверо решили совсем отказаться от ниши. Даже нить они позволяли себе только для того, чтобы не умереть[23].

Царь и в этот раз, жестоко каюая пустозерских сидельцев, повинуясь то ли памяти о прежней дружбе, то ли из суеверной робости пощадил Аввакума. Протопоп ухаживал за измученными друзьями и работал, не щадя себя, рассыпая с верными людьми сочинения с апологией древлеправославия по всей стране: «Братия моя возлюбленная и вожделенная, яже о Христе Иисусе, на всем лице земном! Стойте твердо в вере и незыблемо, сраха же человеческого не убийтеся, ни ужасайтесь, Господа же Бога нашего святите в сердцах ваших... Молю убо аз, юзник, вас всех, страждущих о Христе: претерпим мало зде от никониян, да Бога вечно возвеселим... Ныне нам от никониян огонь и дрова, земля и топор, и нож и виселица: тамо ангельская песни и славословие, хвала и радость, и честь и вечное возрадование... Да не смущается сердце ваше и устрашается... Господи ради постражи, яко добый воин Иисус Христов правости ради древних книг святых...»{74}.

По настоянию патриарха Иоакима и распоряжению царя Федора Алексеевича пустозерских узников сожгли в срубе 14 апреля 1682 года. После этого не прошло и двух недель, как 27 апреля скоропостижно скончался в Москве молодой царь. Ему не успело исполниться и 22 лет от роду. Современникам показалось примечательным и не случайным это роковое совпадение смерти государя и казни мучеников за древлеправославие, которое повторяло обстоятельства недавней смерти царя Алексея.

Известие о мученической гибели протопопа Аввакума, дьякона Федора, многострадальных старцев Лазаря и Епифания быстро облетело страну, заглушая собой сообщения о смерти самодержца. Но к этому времени у ревнителей старой веры появились другие наставники и духовные центры, а их число умножилось настолько, что им не могли помешать никакие карательные отряды. Огромное число русского населения страны отказалось признать церковную реформу и оставалось верным дониконовскому уставу. В осознании своей нравственной силы и канонической правоты, вожди староверов решили сделать еще одну отчаянную попытку вернуть страну к древнему благочестию.

В ночь на Богоявление, 6 января 1681 года, когда крестный ход во главе с патриархом удалился к Москве-реке, неизвестные проникли в Успенский и Архангельский соборы. Они осквернили гробницу царя Алексея Михайловича, измазав ее дегтем — древним символом непотребства и блуда. Дегтем же были испачканы некоторые архиерейские одеяния. В Успенском соборе зажгли множество сальных свечей. Такие свечи считались «нечистыми», их запрещалось применять при богослужении и вообще использовать в церкви. Тем самым староверы напоминали о том, что собор, оскверненный службой по новым книгам да еще и не освященный после содомского греха афонского архимандрита Дионисия, — есть не дом Божий, а место порока.

В то же время с колокольни Ивана Великого посадские разбрасывали по соборной площади подметные листы, на которых были изображены карикатурные портреты патриарха, многих епископов и царя Алексея с «хульными надписями» — «окаянный; льстец; баболюб; сребролюбец; продал Христа...»{75}. Большинство горожан отнеслось к произошедшему не просто с любопытством и без возмущения, но с видимым сочувствием. Даже стрельцы, по долгу службы обязанные пресекать беспорядки, не торопились ловить тех, кто на их глазах осквернял царскую гробницу и штурмовал колокольню в центре Кремля. Это был дурной знак для власти.

Вся опасность положения выяснилась через несколько месяцев, когда в конце апреля внезапно умер царь Федор и возникла неопределенность с кандидатурой его преемника. В

наличии из сыновей Алексея Михайловича оставалось двое — 10-летний Петр и 16-летний Иван. Пока бояре решали, кому из них отдать трон, взбунтовались стрельцы. За время предыдущего царствования они были поставлены в тяжелое бесправное положение перед своими начальниками. Некоторые стрелецкие полковники, связанные с любимцами царя Федора, Языковым и братьями Лихачевыми, чувствовали себя безнаказанными и распоряжались рядовыми стрельцами, как личными слугами. Произвольно отнимали жалованье, заставляли работать в своих поместьях, били и оскорбляли. Воспользовавшись заминкой при дворе, стрелецкие выборные от всех московских полков подали челобитную о «бесчестье», с просьбой наказать лихоимцев-полковников и выплатить жалованье.

Бояре, к этому времени едва только решившись отдать престол Петру перед недужным Иваном, не знали, как реагировать на жалобу. Однако очень скоро и правительству и самим стрельцам стало ясно, что именно стрелецкие полки представляют собой единственную настоящую силу в столице. Тон новой челобитной стал похож на требование, и вручали ее стрельцы уже под барабанный бой, с развернутыми знаменами входя в Кремль, как в завоеванную неприятельскую крепость.

Стрелецким возмущением воспользовались Милославские, родственники первой супруги царя Алексея, боявшиеся окончательно потерять власть с воцарением маленького Петра и усилением за его спиной клана Нарышкиных. Их целью стало посадить на трон царевича Ивана. Обещая стрельцам милости и льготы, убеждали их стоять за Ивана. Боярин Иван Михайлович Милославский лично принимал по многу раз у себя в доме стрелецких выборных, сидя с ними за столом, щедро угождал. Нарышкиным ничего не оставалось, как уступить, поскольку все дворянство бежало из города и под рукой правительства не было никаких вооруженных сил, кроме боярских холопов. Официально выразив благодарность стрельцам за их заботу о стране и восхвалив их государственную мудрость, Ивана Алексеевича немедленно провозгласили соправителем вместе с Петром, да еще и с указанием, что именно Иван является «старшим» царем из двух. Регентшей при двух братьях до их совершеннолетия назначалась царевна Софья.

Но сами Милославские не могли предположить, чем обернется для них заигрывание со стрельцами. В стрелецких полках, как и среди москвичей в целом, позиции старой веры были очень сильны. Большинство осуждало реформы и придерживалось дониконовского устава в домашнем быту. Даже те, кто не шел на открытый разрыв с официальной церковью, ждали только случая для того, чтобы изгнать из нее «нововводную ересь».

Уже через несколько дней после воцарения Ивана среди стрельцов раздались разговоры о том, что вот теперь, когда восстановили справедливость на троне, пора и церковь очистить от никоновских новин. Из двадцати московских полков в десяти единодушно высказались за то, чтобы стоять за старую веру. В остальных колебались, и хотя сторонников новой веры не было почти вовсе, говорили, что споры о церковном уставе — дело поповское да монашеское, не их стрелецкого ума.

Из полка Титова[24] послали на посад узнать — можно ли найти старцев, сведущих в старых и новых книгах. Поскольку события разворачивались быстро, использовали те силы, которые были в наличии здесь же, в Москве. Разыскали инока Сергия, известного как «твердого адаманта христианской веры». Скоро ему в помощь удалось найти еще нескольких «ревнителей отеческих преданий» и среди них — отца Никиту Добрынина, священника из Суздаля, одного из видных вождей староверия, человека, способного на равных противостоять изощренным полемистам, которых мог выставить патриарх.

Была составлена челобитная с подробным изложением ошибок новых книг в сравнении со старыми текстами. Количество и несообразность выявленных погрешностей были столь велики, что слушатели, среди которых большинство и раньше имели представление о том, как варварски проводилась реформа, теперь, когда им последовательно зачитывали

построчные сравнения, были просто шокированы. Челобитную читали перед собравшимися стрельцами, и многие из них, до этого колебавшиеся, плакали, говорили: «Подобает, братия, постоять за старую веру и кровь свою пролить за Христа-света».

Главным покровителем челобитчиков стал князь Иван Андреевич Хованский, глава Стрелецкого приказа, известный сторонник древлеправославия. Он принял выборных у себя в доме, сказал им: «Молю Бога, дабы умилосердился о народе христианском, не дал до конца погибнуть душам христианским от нынешней новой никониянской веры!»

Ревнители древнего благочестия требовали публичного диспута. В Москву прибывали наследники скитов, староверы из отдаленных областей, просто любопытные. На улицах стало опасно появляться священникам официальной церкви, и тем более вслух бранить древлеправославие и его сторонников, что еще недавно было обычным делом. «Никониян» легко отличали по новомодной одежде и упитанным телам, провожали недобрными взглядами. В сравнении с ними о появившихся в Москве священниках старой веры говорили: «Не толсты брюха-то у них, не как у нынешних новой веры учителей!..». Нескольких новообрядческих попов, осмелившихся защищать никоновскую реформу авторитетом церковной и светской власти, побили среди белого дня едва не под царскими окнами. Правительство совершенно не контролировало столицу.

Никита Добрынин в сопровождении священников и иноков в стаинных одеяниях, принятых в дореформенной церкви, пришли в Кремль. За стенами на площади бушевало людское море, и в Грановитую палату, где состоялась встреча с патриархом и правительницей, долетали нетерпеливые выкрики москвичей, стоявших за старую веру.

Казалось, в той ситуации у правительства уже не было другого пути, как признать поражение и вернуться к старому церковному уставу. Не только сопротивляться не было сил, но и защититься от прямого унижения — на глазах Софии поколотили новообрядческого епископа Афанасия, ругались на память ее отца и брата Федора — и все приходилось терпеть.

Но все-таки несмотря на народное сочувствие и поддержку стрельцов, попытка реставрации старой веры летом 1682 года в том виде, как она происходила, была заранее обречена на поражение. Формально начавшись с разницы в обрядах, раскол к этому времени приобрел значение принципиальных духовных и мировоззренческих разногласий, чего не успели еще вполне понять Никита Добрынин и его соратники, те старцы и иноки, что перед лицом патриарха Иоакима, знатных бояр и царевны Софии разложили торжественно на аналоях в Грановитой палате древние книги и просили «чтоб велено было патриарху и архиереям служить по-старому». Никита так прямо и сказал, поклонившись царевне, что пришли они «побить челом о старой православной вере... а если патриарх не захочет служить по-старому, то пусть даст ответ, чем старые книги дурны?»

Этот вопрос к церковной иерархии и правительству с наивной настойчивостью повторялся старообрядцами на протяжении трех столетий, неизменно оставаясь или без ответа, или оказываясь замотанным в лживых демагогических спекуляциях. Пока Никита собирался обличать «всякие затеи и ереси» новых книг, думая, что этим откроет глаза архиереев и правителей на очевидную ошибочность реформы, они прекрасно сами знали о слабых местах новых обрядов, но, конечно, и не думали отменять преобразований.

Как отмечал П. Паскаль: «Теперь уже дело касалось не только того, как следовало писать и читать имя Иисус, с одним или двумя “и”... знаменовать себя крестным знамением двумя или тремя перстами. Эти вопросы, вызвавшие разделение верующих, сохраняли всю свою важность. Но в московском обществе совершилось и другое, новое разделение, уже делавшее первое бесповоротным. Правящие круги столкнулись с иноzemной цивилизацией, были готовы оставить прежнее мировоззрение, полное героизма и аскетических устремлений, оставить монашеское христианство, бывшее дотоле традиционным в Московии. Оставив его,

они были готовы перейти к другому миропониманию, еще пока плохо определившемуся, но как будто открывающему широкие возможности и для культа материальной стороны жизни»{76}.

Теперь уже недостаточно было переменить устав, даже если бы кто-нибудь из правителей и решился на это по доброй воле или по принуждению. Для успеха дела требовалось не просто повернуть вспять внешнюю обрядовую реформу, но противостоять всему тому направлению в общественном развитии, которое получило силу с началом никоновских реформ. Борьба за старую веру отныне неизбежно приводила к борьбе с той системой и духом государственного устройства, которые утверждались в России с конца XVII столетия.

Неизбежность противостояния власти для сохранения и защиты святой веры постепенно осознавалась все яснее. Во время войны с Крымом в правление Софии стрельцы, и особенно казаки, без всякого воодушевления восприняли весть о предстоящем походе против хана. Донские казачьи атаманы говорили на войсковом круге: «Куды нам идти на крымского?! Надобно тут первое очистить. Лучше нам ныне крымской хан нежели наши цари на Москве!»{77}.

Казаки-староверы понимали, что в случае неизбежного конфликта с правительством единственная сторона, откуда русские православные люди, гонимые у себя на родине за веру, могут получить помощь — так это от крымского хана и князьков нагайских улусов. Впрочем, так и случилось впоследствии.

Должно было многое произойти между властью и народом, чтобы те, кто издавна защищал границы государства, признали, что для них извечный враг оказался теперь ближе собственного правительства. Но для большинства людей, сохранивших преданность древлеправославной вере, этот окончательный разрыв с государством и властью со всей неумолимой очевидностью станет ясным только в грядущее царствование Петра Первого.

## ЧАСТЬ II.

### ПОД ВЛАСТЬЮ «АНТИХРИСТА»

#### ГЛАВА 1

Село Преображенское, любимая летняя резиденция царя Алексея Михайловича, располагалось недалеко от Немецкой слободы, или Кокуя, как пренебрежительно называли эту резервацию иноземцев москвичи[25]. Для царя, в последние годы жизни особенно проникнутому симпатиями ко всему чужеземному, такая близость была даже кстати. Ведь, помимо всего прочего, именно на Кокуе жили мастера «камедийных действ», которыми тешился Алексей Михайлович, там вербовались музыканты и актеры для домашних спектаклей во дворце.

По странной иронии судьбы, всего через несколько дней после рождения царевича Петра, в начале июня 1672 года, с благословения либерального царского духовника Андрея Савиновича, в Преображенском было начато строительство здания «камедийной хоромины» — по сути придворного театра.

В общем ряду событий этот факт все-таки не может не обратить на себя внимания по тому символическому значению, которым он оказался наделен. Прежние русские цари при рождении сына строили церковь. Теперь наступали действительно новые времена. Конечно, сам Алексей Михайлович вряд ли вкладывал в свою «камедийную» затею глубокий смысл, и уж того менее хотел показать, что мирская греховная забава ему важнее церковных служб. Но, как бы то ни было, получилось, что государь-отец очень угадал с этой стройкой, ставшей своего рода прообразом и предзнаменованием будущего правления его сына.

При Петре в короткий срок сама Немецкая слобода неожиданно расширяется до пределов Москвы, поглотив и древнюю русскую столицу, и перестроив всю страну на свой лад. Стараниями императора Россия превращается в огромный Кокуй, в котором, правда, уже не было предусмотрено территории для «русской слободы». Конечно, еще оставалось много мест, где сохранялась национальная духовная традиция, вера, обычаи. Но поскольку государство, начиная с Петра, объявило всему этому беспощадную войну на истребление, то очаги народной традиции на протяжении периода существования империи, неуклонно сокращаясь, со временем исчезли совсем.

Петр рано сошелся с обитателями Кокуя. Одним из первых, кто познакомил его с ними, был князь Борис Голицын, боярин, часто бывавший в Преображенском, давний приятель иноземцев и поклонник их культуры, подобно своему кузену, фавориту Софьи, князю В.В. Голицыну.

Князь Борис примечателен тем, что представляет собой как бы типичный образец людей, окружавших царевича Петра с ранней юности. Голицын был лично предан Петру, но имел «погрешения многие», как характеризует его современник, князь Борис Куракин: «Первое — пил непрестанно, и для того все дела неглигировал; второе — великой мздоимец, так что весь Низ разорил»[26].

Куракин приходился императору свояком — его жена была родной сестрой царицы Евдокии Лопухиной, всегда был близок ко двору и не мог жаловаться на плохую карьеру. Тем ценнее его описания ближайших помощников Петра, которых он знал лично. По его словам, дядя Петра, Лев Нарышкин, глава Посольского приказа, «был человек гораздо посредняго ума и невоздержной к питью, также человек гордой, и хотя не злодей, токмо несклончивой...»{78}. Тихон Стрешнев, близкий к царице Наталье (ходили слухи, что он настоящий отец Петра), своего рода серый кардинал Преображенского двора, о котором Куракин говорит следующее: «О характере его описать можем только, что человек лукавой и злого нраву... интриган дворовой»{79}. Но и вдовствующая царица Наталья, получившая, после пострижения Софьи в монахини, власть над страной, не выделялась из этого ряда посредственных людей, поскольку была «ума легкого». Она отстранилась от дел, передав правление в руки вышеупомянутых господ: брата Льва и Тихона Стрешнева, отчасти Бориса Голицына. Результаты были предсказуемы: «Правление оной царицы было весьма непорядочное, — признает Куракин, — и недовольное народу и обидимое. И в то время началось неправое правление от судей, и мздоимство великое, и кража государственная...»{80}.

Но в это время вокруг самого Петра формируется тесный круг его личных друзей, тех самых «птенцов» и «сынов». Из них Меншиков только начинает приобретать влияние на царя. Он — человек, склонный к великому стяжанию богатств и почестей, при этом, по словам Куракина, способностей и характера «гораздо среднего и человек неученой». Князь Федор Ромодановский, глава Преображенского приказа, ведавший безопасностью царя, верный пес Петра, безжалостный к его врагам, — «сей князь был характеру партикулярного, собою видом, как монстра, нравом злой тиран; превеликой нежелатель добро никому; пьян по вся дни». Франц Лефорпт, любимейший друг Петра, по отзыву Куракина, хотя и получил чины адмирала и генерала от инфanterии, однако «был человек слабого ума и не capableль всех тех дел править по своим чинам... Помянутой Лефорпт и денно и нощно был в забавах, балы, банкеты, картежная игра, дебош с дамами, и питье непрестанное, оттого и умер...»{81}

Портреты сподвижников реформатора писаны столь мрачными красками, что невольно заставляют усомниться в их правдивости. Иначе необходимо будет предположить, что все, буквально все окружавшие Петра люди — были глухими пьяницами, притом «ума негораздого», «характера среднего» и «нрава злого».

И все же приходится признать правоту царского свояка. Традиционное представление о юности Петра, как «начале славных дел», и его фаворитах, как энергичных людях, полных любви к родине и горячего желания сделать ее великой, — это представление основано почти исключительно на художественных произведениях разных жанров позднейшего времени и не имеет никакого отношения к исторической действительности. Настоящий Преображенский двор юного Петра был местом разнозданных кутежей и неимоверных попоек, а его собутыльниками являлись, кроме перечисленных только что, некоторые обитатели Немецкой слободы — «отбросы европейского общества» по характеристике В.О. Ключевского.

Лефорт, «министр пиров и увеселений» Петра{82}, «дебошан французский», как именует его Куракин, знал толк в удовольствиях, хотя и довольно грубых, был человек «забавной и роскошной». В его дворце на Яузе компания во главе с Петром собиралась иногда на несколько дней, где за закрытыми дверями предавались пьянству столь великому, по словам Куракина, что «многим случалось от того умирать».

Пьянство при Петре с самого начала приобретает характер тяжелого обязательного ритуала, участие в котором для многих заканчивалось смертью или болезнью. Продолжительные попойки, в которых участвовал весь двор, длившиеся иногда много недель подряд, являются яркой приметой этого странного царствования. О безудержном питье говорят все без исключения мемуаристы, свидетельствуют те, кому довелось своими глазами видеть петровский двор и познакомиться с его обычаями. Фактически все правление Петра Первого представляет собой бесконечную пьяную оргию, прерываемую на время внешними обстоятельствами, такими как военные действия, поездки и проч. Но важно, что и в походах, и в отлучках царь и его соратники также пьют непрестанно.

Сражения с «Ивашкой Хмельницким» — как игриво именовались попойки в кругу петровских друзей — начались для самого Петра очень рано, ему не было и 16 лет, и едва не привели к хроническому алкоголизму. Видевший Петра во время его первого заграничного путешествия английский епископ Барнет обратил внимание на очевидную пагубную привычку юного русского царя к алкоголю, а также на то, что он «старается победить в себе страсть к вину»{83}.

Петр все-таки сумел победить эту страсть, хотя его здоровье, и психическое в том числе, несомненно пострадало от алкоголя. Но пьянство, как ритуал, не потеряло своего значения при дворе.

Выражения «много пили», «сильно пили» «очень много пили», «неимоверно пили» — постоянно встречаются в качестве описания придворных развлечений. Вот как немец Вебер описывает всего один день, проведенный в обществе императора: «Царь приказал пригласить нас в увеселительный домик его, в Петергоф, лежащий на Ингерском берегу, и по обыкновению угостить нас. Мы проехали туда с попутным ветром, и за обеденным столом до такой степени нагрелись старым Венгерским вином, хотя Его Величество при этом щадил себя, что, вставая из-за стола, едва держались на ногах, а когда должны были еще осушить по одной кварте из рук царицы, то потеряли всякий рассудок, и в таком положении нас уж поразнесли на разные места, кого в сад, кого в лес; остальные просто повалились на земле, там и сям. В 4 часа после обеда нас разбудили и опять пригласили в увеселительный домик... Едва успели мы вздохнуть часа полтора до полуночи, как явился известный царский фаворит, извлек нас из наших перин и волей-неволей потащил в покой спавшего уже со своею супругою одного Черкасского князя, где мы, перед его постелью, нагрузились снова

вином и водкою до такой степени, что на другой день никто из нас не мог припомнить, кто принес его домой. В 8 часов утра нас пригласили во дворец на завтрак, который состоял из доброй чарки водки...»

Довольно обширный дневник Берхгольца, камер-юнкера при дворе герцога Голштинского, зятя Петра, временами просто сводится к хронике бесконечных придворных попоек: «Его высочество[27] из Стрельны-мызы ездили с царским маршалом (Олсуфьевым) на дачу последнего, где со всею своею свитою должен был очень много пить... На другой день его величество царь был с его высочеством на 6 или 7 военных кораблях, где... много пили, потому что на каждом корабле были угощения... Вечером была тост-коллегия у тайного советника Бассевича, к которому тотчас после ужина случайно приехали генерал-майор Ягужинский и царский фаворит Татищев. Началась сильная попойка, потому что у обоих шумело уже немножко в голове, а в подобных случаях с ними всегда надобно крепко пить...

Его величество всякий год ездит туда (в Шлиссельбург). При этом случае обыкновенно очень сильно пьют... В Шлиссельбурге, говорят, пили чрезвычайно много и на каждом из бастионов, потому его высочество был рад, что счастливо отделался от этой поездки...

Когда императорская фамилия и маски съехались, начался, как и неделю тому назад, обед, за которым много пили. Потом столы и скамьи были вынесены из большой залы, и открылись танцы, продолжавшиеся до поздней ночи. Между тем не переставали сильно пить, причем тем, которые не танцевали и находились в боковых комнатах, доставалось больше всех; но и мы, когда танцы кончились, получили свою порцию, так что очень немногим удалось к утру добраться до дому не в совершенном опьянении...

Князь Меншиков в своем большом доме, находящемся также в Немецкой Слободе, великолепно угощал его высочество со свитою и иностранных министров, причем, однако ж, неимоверно пили...»

Подобные изумленные описания самого безудержного пьянства при русском дворе приводят на память воспоминания другого иностранца, дьякона Павла Алеппского, жившего в Москве в середине XVII века. Фрагменты его описаний русского благочестия и строгой церковности уже приводились в предыдущих главах. Уместно привести их и здесь для сравнения, как изменилась жизнь и нравы за это время. Павел Алеппский описывает обычай дореформенной Руси: «Горе тому, кого встречали пьяным или с сосудом хмельного напитка в руках! Его обнажали в этот сильный холод (речь идет о времени Великого поста) и скручивали ему руки за спиной; палач шел позади него, провозглашая совершенное им преступление, и стегал его по плечам и спине длинной плетью из сырых бычачьих жил... Особенno строгий надзор бывает за жителями в течение первой недели поста, по средам и пятницам, на Страстной неделе и в первые четыре дня Пасхи, чтобы люди не пьянствовали, а то их стегают без всякого милосердия и жалости...»

Что касается устава их церквей, то в приходских церквях устав подобен монастырскому. Мы наблюдали в них веру, усердие и набожность чрезвычайные и многое другое вроде этого, из-за чего, делая это вместе с ними, ради подражания им, мы терпели мучения... Мы умирали от усталости, ноги наши подламывались от беспрерывного стояния с раннего утра до вечера. Но мир Божий да почнет на мирянах, мужчинах, женщинах, детях и девушкиах за их терпение, стояние и твердость с раннего утра до сих пор!..»

Это зарисовка, сделанная чужой, но восхищенной рукой, сохранила образ страны, которая навсегда оказалась погребена под чередой разрушительных преобразований. Древнюю крепкую культуру воцерковленного народа сильно подломила никоновская реформа, внеся разлад в среду православных христиан. Неустойчивость в вере правителей конца XVII века усилила раскол. Петр сделал его необратимым.

Он демонстративно попирает прежние обычаи и церковные правила, еще уцелевшие от реформ Никона и царя Алексея, а также полонофильства Федора. Нидерландский художник Корнелис де Бруин, приезжавший в Россию в 1708 году, писал, как во время Великого поста Петр, дозволив иноземцам употреблять в пищу постное или скромное по выбору, сам вместе с Меншиковым «кушали только одно мясное» и, конечно, снова изрядно пили.

Присутствие на придворных попойках было обязательным, и невка каралась жестоко — виновных, включая дам, поили до потери сознания плохой водкой. Однажды беременная жена придворного — Олсуфьева, узнав, что ее ожидает такой «штраф», в отчаянии приехала к императрице, умоляя ее заступиться и избавить от тяжелой повинности ввиду очевидной невозможности пить — Олсуфьева была на последнем месяце беременности. Екатерина обратилась к мужу, но Петр был неумолим. Берхгольц пишет, что Олсуфьева вернулась домой, но, очевидно, от переживаний и страха родила в ту же ночь мертвого младенца. Она велела заспиртовать его и отправить во дворец, должно быть — для пополнения императорской кунсткамеры...

Иногда пьяный ритуал приобретал совершенно отвратительный вид. Герцог де Миранда, посетивший Петербург много после смерти Петра Первого, с интересом собирая рассказы об императоре тех, кто знал его близко при жизни. Эти истории шокировали герцога. Знаменитый Бецкой, в юности бывший пажом Петра, рассказал, как однажды по приказу Петра «из желудка человека, умершего от пьянства, извлекли содержавшуюся там водку и пили ее...»

Но в этом не было ничего дикого или необычного для характера Петра Алексеевича. Ведь заставлял же он своих придворных зубами разрывать мышцы трупа в анатомическом театре в Голландии, заметив, что те с непривычки отворачиваются от мертвого тела. А разве не Петр, после того как по его приказу отрубили голову его любовнице Гамильтон, взял ее голову в руки, поцеловал и после стал на ее примере объяснять присутствующим анатомическое строение человеческой головы и шеи, в то время как кровь стекала еще из перерубленных артерий и жил. Разве не Петр велел пытать при себе и после удавить своего сына, а потом спокойно и с воодушевлением пел в церкви на заупокойной службе по царевичу. Разве не он собственноручно рубил головы стрельцам — по свидетельству иноземца Корба за один день обезглавив более 80 человек; разве не он лично и со знанием дела пытал людей в застенках и заставлял своих «птенцов» делать то же.

В сфере морали и нравов Петр произвел революцию, буквально перевернув с ног на голову все прежние представления, превратив порок в достоинство, а бесстыдство — в доблесть. Кроме повального пьянства при его дворе процветал повальный разврат, масштабы которого трудно вообразимы.

С ранней юности и до конца дней у императора была бурная и беспорядочная половая жизнь, которая привела к венерическим заболеваниям и к появлению незаконнорожденных детей. Любовницы и наложницы, «метрески» на час или на месяц сменяли друг друга, переходя из постели императора к его друзьям и сбутыльникам. Иногда это движение шло в обратном порядке, как в случае с будущей императрицей Екатериной. Сначала се интимными услугами пользовались рядовые драгуны, потом Б. Шереметев, взявший ее к себе в «портомон». У старика фельдмаршала красивую чухонку отнял Меншиков, и только после Алексашки она досталась наконец Петру, стараниями которого и была наречена российской императрицей, о в глазах большинства русских людей эта женщина оставалась публичной девкой Мартой, а се производство в «царицы» выглядело очередной блажью свихнувшегося[28] императора, новым оскорблением национальных чувств народа.

Таковы были настоящие нравы человека, гением которого, по мнению поэта А.С. Пушкина, «мужала Россия».

Описание петровских кощунств и мерзостей может занять много места. В околонаучной литературе любят смаковать их подробности, а официальная историография как бы вовсе «не замечает» этих фактов, пренебрегает их существованием. Однако при желании познакомиться с ними более подробно их не так трудно найти в источниках. Но для русской истории важно другое.

Значение петровского переворота состояло в тотальном развращении знати и высшего сословия, от которых повреждение нравов перекинулось дальше — в народную гущу, в городские мещанские слои, священническую среду, крестьянство.

Главная и единственная реформа, которая удалась этому императору, заключается в бесповоротном утверждении секулярных ценностей, в формировании общества, в котором искренняя религиозность в конце концов оказалась вне закона, а церковь превратилась в министерство по духовным делам — «ведомство православного исповедания».

Петр с детских лет получил устойчивую ненависть к тем, кто веру в Бога ставил выше всех прочих мирских обстоятельств, в том числе выше государства и его правителей. Он рано осознал, что искренняя вера несовместима с авторитарной властью, потому что делает людей свободными и духовно независимыми. Недаром в 1722 году Сенат принял несколько курьезный указ, которым признавалось вредным и воспрещалось в России «страдание за веру, не одобренное правительством».

Основан был этот запрет на следующем остроумном рассуждении: «...токмо страдание законно бываемое... полезно и богоугодно есть», гонений же за правду «в Российском, яко православном государстве, опасатися не подобает, понеже того и быти не может». Из этого следовало, что страдание за веру в Российском государстве не является ни истинным, ни богоугодным делом...{84}

Но в действительности происходило все наоборот. Правды как раз и нельзя было сыскать в России. Власть действовала исключительно карательными мерами, принуждением и насилием, произвольно лишая собственности, свободы, оскорбляя совесть и веру, попирая древние духовные и социальные традиции.

Петр, кроме нравственной порчи русского общества, произвел еще и государственный переворот — он присвоил себе функции единовластного диктатора, которыми не обладали прежние цари. Он буквально отождествил себя с государством, придав своим личным желаниям силу закона. Раньше государь был ограничен множеством неписанных обычаяев, которым был вынужден подчиняться для того, чтобы относительно спокойно сидеть на престоле. Но, прежде всего, он подчинялся им потому, что сам уважал старину, создавшую эти обычай, уважал традицию, остававшуюся живой и действенной. Наконец, правитель прежнего времени был окружен людьми, для которых вера в Бога была важнее любых индивидуальных хотений и амбиций, в том числе царских, а, значит, людьми в достаточной степени независимыми.

Петру нужны были рабы, потому что только они могли слепо выполнять и его кощунства, и его сумасбродные проекты. Для того, чтобы вырастить рабов, ему потребовалось лишить людей нравственной опоры в прошлом своей родины, лишить веры, достоинства и стыда. И вот эти-то помощники, эти «нарочитые монстры» и принялись за уничтожение того, что еще оставалось в стране от прежних социальных институтов и морали. Россия превращалась в концентрационный лагерь, в котором такие понятия, как частная собственность, личная жизнь, религиозность — не имели значения и смысла. В следующий раз подобный разгром повторился в России только спустя два столетия — в период большевистской революции и красного террора, и он во многом был подготовлен петровской эпохой.

Переворот Петра — это не реформа, как обычно именуют его, и не «преобразование». Это

настоящая революция, непримиримая и жестокая. У новой империи, созданной в результате революции Петра, не существовало никакой преемственности по отношению к старой русской культуре и государственности. Они были основаны на противоположных нравственных и социальных принципах. Старая государственность представляла собой православную монархию — общество христиан, объединившихся вокруг фигуры государя, как воеводы, для того, чтобы сообща служить делу сохранения и защиты истинной веры. Новая государственность была абсолютистской диктатурой, рассматривавшей жителей империи не как граждан и христиан, а как рабов, смыслом жизни которых является обслуживание интересов правительства и правящего сословия.

Эпоха Петра стала временем, когда прежняя крепостная зависимость крестьян от помещиков, имевшая раньше множество ограничений, превратилась в самое настоящее рабство. Именно при этом императоре, «демократичностью» которого не устают восхищаться историки и писатели, русских крестьян начали продавать на рыночных площадях русских городов, как рабочую скотину, с разделением семей, без земли. Причем про исходило это в вопиющем противоречии с законодательством, поскольку продолжала действовать никем не отмененная статья Соборного Уложения 1649 года, гласившая совершенно недвусмысленно: «Крещеных людей никому продавати не велено!»

Но эти слова Уложения были слабым отзвуком старых общественных понятий, основанных на уважении и к имени христианина, и к человеческому достоинству соотечественников, иначе говоря — остатком «варварства», которое следовало, но мнению реформатора, как можно скорее искоренить и насадить новые представления.

В правление Петра отдельный человек, как личность, вообще теряет всякую ценность. Люди имеют значение для императора только как рабочая сила, и чем больше ее согнано, тем лучше. Для этой безликой людской массы скоро нашлось свое слово — «сволочь», т.е. те, кого приволочили, сволокли на рабский труд.

На «стройки века» при Петре сгоняли десятками и сотнями тысяч, но этого оказывалось недостаточно, и постоянно требовались новые жертвы. Работные люди, прежде всего крестьяне, под вооруженным конвоем покидали дома и семьи и отправлялись на государственную каторгу — строительство крепостей и верфей, затеянных Петром по всей стране. Иностранный резидент Фридрих Вебер, посетивший «преображенную Россию», писал: «Это как бы бездна, в которой изнемогает и гибнет бесчисленное множество русских подданных. Люди, знающие основательно это дело, уверяют, что при возведении крепости в Таганроге у Черного моря погибло более 300 000 крестьян, и еще более на петербургских и кроншлотских работах, частию от голода, а частию вследствие болезней, развившихся от болотистой почвы».

На строительстве петербургской крепости только за первый период, в течение 1703—1705 годов, погибло не менее ста тысяч человек от постоянного голода, непосильного труда, цинги. Их безымянные кости и сейчас лежат под чугунными набережными «града Петрова», о настоящей цене строительства которого весьма выразительно высказался В.О. Ключевский: «Едва ли найдется в военной истории побоище, которое вывело бы из строя больше бойцов, чем сколько легко рабочих в Петербурге и Кронштадте. Петр называл столицу своим «парадизом», но она стала великим кладбищем для народа»{85}.

Но, кроме гибельных строек, люди требовались для постоянного пополнения потерь в армии. Шла Северная война, в которой сгорело множество жизней.

Такого кровопускания, которое сделал России Петр Первый, страна не знала никогда раньше. Ни одно неприятельское нашествие, ни одна война не уносили столько жертв, сколько потребовал от народа этот правитель. Еще в самый разгар войны со шведами появились тревожные статистические данные, свидетельствовавшие о том жестоком разгроме, который

император сумел нанести своей собственной державе. В 1714 году Сенат представил Петру результаты подворной переписи населения. В целом по стране число жителей сократилось более чем на четверть, в некоторых местах еще больше, а это значит, что людские потери исчислялись миллионами! Только в Казанской губернии, например, за несколько лет, с 1710 года, «убыло» 35 тысяч тяглых дворов, что составляло около трети населения этой губернии{86}.

Как правило, в оправдание всех чудовищных жертв приводят победу в Северной войне. Но и освещение самой войны, ее причин, целей, хода военных действий, и, наконец, «победа» в ней Петра — являются одними из самых вопиющих историографических недоразумений. По соотношению результатов и затраченных усилий — это одна из самых неудачных войн, которые вело когда-либо российское государство. 21 год небывалых лишений потребовался на то, чтобы шведы согласились продать часть принадлежавшего им побережья Балтийского моря!

Швеция действительно уступала России права на территорию Лифляндии, Эстляндии и часть Карелии. Но за эти земли Россия должна была заплатить «побежденным» шведам огромную контрибуцию — 2 миллиона таллеров, или более 50 тонн чистого серебра. Кроме того, Швеция получала право ежегодно вывозить из России зерна беспошлинно на сумму 50 000 рублей, а секретное соглашение к договору увеличивало эту сумму еще на 100 000 рублей.

В стоимость петровской «победы» необходимо также включить все экономические расходы, буквально разорившие страну, загубленные человеческие жизни. Итоги военной авантюры Петра подвел в свое время В.О. Ключевский: «Упадок переутомленных платежных и нравственных сил народа... едва ли окупился бы, если бы Петр завоевал не только Ингирию с Ливонией, но и всю Швецию, даже пять Швеций»{87}.

Экономика России не испытывала никакой потребности в наличии портов на Балтике, а общий упадок хозяйственной деятельности в ходе войны сделал эти территориальные приобретения совершенно ненужными. Вся внешняя торговля совершалась через Архангельск, который прекрасноправлялся со своей задачей еще и в 20-х годах XVIII века. Только принудительные меры правительства фактически насилием перенесли центр российской внешней торговли в Петербург.

Если бы те колоссальные усилия и затраты, которые были сделаны на войну за бесплодные болота Карелии, оказались направлены на развитие отечественной промышленности и сельского хозяйства, положительные результаты роста экономики сами собой, в случае необходимости, поставили бы вопрос о новых местах сбыта произведенных товаров. В конце концов, для того, чтобы купить часть побережья, у России тогда нашлись бы средства без необходимости уничтожения миллионов своих жителей.

Но урон, нанесенный военной и прочей деятельностью Петра, был столь сильным, что еще много времени спустя российская экономика находилась в кризисе, а потом еще долго залечивала его последствия. Экспорт России на протяжении всего восемнадцатого столетия состоял почти исключительно из самых примитивных товаров, сельскохозяйственного и производственного сырья. Свиная щетина, пенька и лен — вот чем торговали в купленных столь дорогой ценой петровских гаванях.

Вплоть до второй половины XIX века в стране так и не возникло развитой промышленности. И причина этого заключена во внутренней социальной и экономической политике Петра Первого. Дело в том, что в основание промышленного производства «великим» преобразователем был заложен принцип рабского труда, который отбрасывал российскую экономику далеко назад по сравнению с европейскими странами.

Большинство рабочих на вновь создаваемых предприятиях были крепостными крестьянами.

Указ 1721 года разрешал не только дворянам, но и купцам и фабрикантам покупать деревни с крестьянами для обслуживания производства. Работа на фабриках для крепостных была обязательной. Заработка плата им, как правило, не выплачивалась, и они работали за еду. А в некоторых случаях предпримчивые рабовладельцы заставляли своих рабочих еще и держать небольшие огороды, чтобы кормиться самостоятельно и не «проедать» хозяйственного хлеба.

Крепостной рабский труд преобладал в российской промышленности до середины XIX столетия. Доля вольнонаемных рабочих всегда была крайне низкой, но важно помнить, что из этого числа «вольнонаемных» — большинство также было крепостными людьми, нанявшимися на фабрику для того, чтобы заработать оброк своему помещику.

Однако и окончание Северной войны не только не принесло облегчения, но повлекло за собой новые тяготы для народа. Встал вопрос о том, куда девать армию и на какие средства ее содержать. Поступили просто — за каждым полком закрепили определенный уезд, крестьяне которого должны были кормить и одевать солдат. Размещался полк здесь же, в уезде, и солдаты по совместительству выполняли роль полицейских надзирателей над населением. На практике появление военных частей в самой гуще мирного населения обернулось конфликтами, насилием со стороны солдат и офицеров по отношению к крестьянам, их семьям и имуществу, неконтролируемыми поборами. Офицеры относились к местным крестьянам как к собственным крепостным, с той только разницей, что не имели совершенно никаких причин щадить их, и злоупотребления доходили до такой степени, что сами помещики уезда уже не имели власти в собственных имениях. Получалось, что петровская армия оккупировала Россию, и разоренным униженным жителям оставалось только гадать, не легче бы им пришлось в случае победы шведов?

Но не только варварский способ расквартирования армии — вся внутренняя политика Петра и была оккупацией, самым настоящим насилием над национальными, религиозными чувствами людей, их собственностью и самой жизнью.

Прежние нормы отношений власти и общества, а также внутри самого общества были не только не симпатичны Петру, они были смертельно опасны и неприемлемы для него, потому что несовместимы с новыми социальными отношениями, с новым типом власти. Сломав старую традицию общественных отношений, прежнюю систему духовных ценностей, Петр должен был ополчиться и на старину, их породившую.

Все русское, национальное, традиционное попадает при Петре под прямой запрет и подвергается преследованию. В 1700 году, как раз в ознаменование Нового года, под барабанный бой на улицах и площадях был вывешен царский указ, предписывавший всем жителям не позднее чем к Масленице переодеться в иноземное платье, а русской одежды не носить.

Через год мысль реформатора была конкретизирована: мужчины должны были носить верхнее платье саксонское и французское, а исподнее, камзолы, штаны, шапки, а также обувь — сапоги, башмаки — немецкие; женщинам предписаны были шапки, юбки и башмаки тоже немецкого образца. Для надлежащего выполнения предписания у городских ворот стояли караулы, следившие за тем, во что одеты обыватели. За ношение русской традиционной одежды штрафовали, а саму одежду здесь же у всех на глазах демонстративно резали и разрывали на куски.

Еще раньше вне закона оказалась борода. Только вернувшись из заграничного путешествия в августе 1698 года, Петр в Преображенском устроил отвратительный спектакль, собственоручно отрезая бороды и длинные рукава старинной одежды. На другой день за царя это делали его шуты, глумясь не столько над оскорбленными людьми, сколько над всей русской национальной традицией.

В традиционных обществах внешние особенности поведения, одежды, элементы той или иной обрядности имеют чрезвычайно большое значение — кроме того, что все они не случайны и происходят издревле, несут на себе многовековое отражение быта, характера, духа народа, они являются своего рода защитой от инокультурных иноверных влияний, представляют зримое свидетельство культурного и духовного единства народа. Поругание и уничтожение этих индивидуальных национальных примет разрушает и народную культуру и сам народ.

Когда заходит речь об эпохе «преобразований» Петра Первого, как-то совершенно пропускается то обстоятельство, что его правление было временем сознательного поругания всей русской национальной культуры, как если бы Россия оказалась завоеванной вражескими войсками. Петр объявил непримиримую войну на истребление всему русскому, и здесь его деятельность ничем не отличается по непримиримости от действий любого иноземного агрессора, окажись он на месте Петра. Все национальное целенаправленно заменялось иноземным — от солдатских мундиров до архитектуры и названия столицы.

Тогда же начинается огромный приток иноземцев в Россию. Брали всех и отовсюду. По европейским городам развешивались на столбах и стенах домов «манифести» Петра, звавшие в Россию мастеров любого дела. Нужно ли говорить о том, сколько среди этих приезжих «мастеров» было отбросов общества, авантюристов и мошенников? Но не так-то просто было проверить их квалификацию — строгие указы императора повелевали относиться к иностранным специалистам с особым уважением. И если кому-нибудь из иноземцев случалось только показать малейшее неудовольствие — император грозил немедленным и безжалостным наказанием всем виновным.

Вместо экзаменов на мастерство иностранцам спешили раздавать во владение русских крепостных крестьян. В правление Петра Первого государственных крестьян в частную собственность было роздано около 200 тысяч душ мужского пола, значит всего, вместе с неучтенными женскими — почти полмиллиона человеческих душ.

Дело в том, что в преобразованиях и реформах Петра была одна важная особенность — так называемая «европеизация» была предназначена исключительно для высшего сословия, отчасти для городских жителей. Основная масса народа должна была остаться в своем прежнем состоянии. Платить налог на бороду были обязаны только городские купцы, а иноземное платье предписывалось для обязательного ношения только дворянству, чиновничеству и городским обывателям, общее число которых к концу правления Петра составляло едва 5% от общего числа населения.

Русским крестьянам, или 95% населения, правительство разрешало совершенно беспощадно носить бороду и традиционную одежду. Но здесь нет никакого великодушия или государственной мудрости Петра. Национальная одежда стала не подарком реформатора изнуренному его преобразованиями народу, а — клеймом рабства.

Борода и русская одежда, бывшие на Руси всегда предметом уважения и личного достоинства, теперь стали символом бесправия, признаком недочеловека. Специальные правительственные указы Петра и его преемников под страхом уголовного наказания и лишения состояния запрещали «благородным» господам одевать даже в домашнем быту русскую традиционную одежду. Также предпринимались всяческие меры для того, чтобы дворянство перестало говорить по-русски. Русский язык, язык великого народа, стал в империи Петра и его наследников исключительно средством общения «господ» с «подлыми» людьми, приобрел статус рабского языка.

Объективное освещение петровской эпохи оказалось сильно деформированным целыми поколениями историков, которые привыкли путать историческую науку с патриотической пропагандой. Образ Петра в отечественной историографии буквально табуирован, окружен

священным трепетом и преклонением. В то же время профессиональным историкам известно, что преобразования не имели под собой никогда четкого плана, носили случайный характер и почти все потерпели неудачу, не были доведены до конца. Их экономические последствия для страны были сравнимы с катастрофой. Однако не только критика, но малейшее сомнение в величии «гения» императора или попытка объективно разобраться в содержании его правления считаются свидетельством академической неблагонадежности, едва ли не бунтом.

Причина в том, что единственным бесспорным результатом реформ был категорический разрыв с прошлым во всех областях — социальной, духовной, бытовой. «Царь-плотник» как бы сжег, обрубил у России все ее корни и бросил этот обрубок на произвол судьбы. Лишенным всяких живых связей с собственной национальной традицией потомкам не оставалось ничего другого, как любыми средствами оправдывать этот разрыв, даже понимая весь его вред. Так возник миф о «великом» преобразователе, который над «бездной» поднял на дыбы страну и спас ее.

Современники Петра, тот народ, который император, по утверждениям ученых мужей, спас от бездны, не знали, что живут в правление столь великого деятеля. Они были совершенно убеждены в том, что новый царь — антихрист, и потому боролись с ним всеми возможными средствами. Борьба с Петром стала борьбой за Россию и за православную веру.

Чем дольше продолжалось правление Петра, тем большую ненависть он возбуждал к себе по всей стране. Отовсюду слышался ропот, и шпионы доносили императору, что именно говорит о нем народ: «Какой он царь? Он крестьян разорил!.. Если он станет долго жить, он и всех нас переведет. Мироед! Весь мир переел; на него, кутилку, переводу нет, только переводит добрые головы! Какой он царь! Враг, оморок мирской — сколько ему ни скакать, быть ему без головы... Которого дня государь и князь Федор Ромодановский крови изопьют, того дня в те часы они веселы, а которого не изопьют, и того дня им и хлеб не естся»{88}.

Последнее обвинение в «кровопийстве» примечательно тем, что совершенно независимо перекликается с некоторыми местами из личной переписки Петра и князя Ромодановского. До Петра дошли слухи о неистовствах Ромодановского, совершаемых во хмелью. Царь с мрачной ironией писал своему обер-палачу: «Зверь! Долго ли тебе людей жечь?.. Перестань зваться с Ивашкою Хмельницким. Быть от него роже драной». Ромодановский отвечал: «В твоем письме написано ко мне, будто я знаюсь с Ивашкою, и то, господине, неправда... Неколи мне с ним зваться — всегда в кровях омыvаемся. Ваше то дело на досуге стало знакомство держать с Ивашкою, а нам не досуг»{89}.

Находились люди, являвшиеся в страшное Преображенское по доброй воле, чтобы посмотреть в глаза царю-извергу. Они видели беззаконие, творившееся вокруг, знали, что исходит оно от государя или того, кто называется государем, по крайней мере. Деяния Петра были столь необычными, столь неукротимо враждебными по отношению именно к духу и укладу всей русской жизни, что невольно рождалась мысль о том, что царь — самозванец. Рассказывали, что он сын немки из Кокуя, или вовсе подменен во время заграничного путешествия, а настоящий Петр немцами украден и в темницу брошен.

Как бы то ни было, у людей не было иллюзий относительно того, кто является источником безобразий. Они точно знали, что это — носитель верховной власти. И они шли к нему, принося себя в жертву, зная, что пути назад не будет, что кровавый князь-cesарь Ромодановский каждую жилу вытянет из тела, но шли, чтобы сказать слово правды от имени всей земли.

В 1703 году пришел к царю Петру нижегородец Андрей Иванов с требованием суда — над царем Петром. И здесь нет ни юродства, ни, тем более, глупости или шутовства, но только удивительное благородство, избранный духовный аристократизм, который много раз будет

проявлен еще русскими простолюдинами в условиях унижения и безысходности, в которые поставила их власть. В поисках справедливости этот человек обращался к тому, кто Богом поставлен защищать справедливость и правую веру. Андрей Иванов изложил и царевы вины — «что-де он, государь, веру православную разрушает, велит бороды брить, платье носить немецкое, табак тянуть...»{90}. Ему не дали дочитать до конца обвинительный лист. Нижегородец, как и прочие ходоки от земли, был замучен в Преображенских застенках.

По в народе накопилось слишком много ненависти против угнетателей. По деревням, на городских посадах, в казацких городках и станицах говорили так: «Найде нам скорбь и туга велия по зависти дьявольской и пришельцев иноверных языков; влезли окаянные татски, яко хищницы волцы в стадо Христово!»{91} И еще так: «Нашу братью стрельцов прирубили... только нашей братии во всех сторонах осталось много... Будет у нас и тот в руках, кто нас пытал и вешал»{92}. Становилось ясно, что бешеный «кутилка» не уймется и не остановится, что пора с оружием в руках вставать на защиту и веры, и своего человеческого достоинства, и жизни близких.

Бунт в Астрахани начался стихийно. Недовольство, как и везде, копилось давно. Раздражали самоуправство воеводы, мздоимство чиновников, наборы в армию, откуда не возвращались братья и сыновья. Но сильнее прочего тяготило оскорбительное засилье иноземцев — они занимали командные должности в городе. Астраханцы чувствовали себя как будто завоеванными немцами — по указу их принуждали переодеваться в немецкое платье, брить бороды. Даже в церковь не пускали в русской одежде. Прошел слух, что скоро дочерей заставят насильно отдавать замуж за немцев. Проверить ему было легко. Иностранцы не утруждали себя деликатным отношением к местным жителям, не уважали их национальных и религиозных чувств, зная за собой поддержку самого царя. Попрекая русских их «варварскими» обычаями, говорили: «Станете и вы скоро в пост мясо есть», и прочее.

Ночью, 29 июля 1705 года, ударили в набат, ворвались в кремль. Без жалости порубили иностранных офицеров и солдат, а вместе с ними и воеводу. В городе ввели народное самоуправление по образцу казацкого круга, выбрали старшин. Власть в Астрахани оставалась в руках восставших до весны следующего года. И все это время в городе сохранялся образцовый порядок. Хозяйственная жизнь шла своим чередом, за тем исключением, что все, кто имел свой промысел, ремесло или торговлю, вздохнули свободно без корыстного вмешательства воеводы.

Сразу после захвата города от имени старшин были разосланы письма в соседние области, звавшие присоединиться к восстанию. Текст писем вполне дает представление о причинах возмущения: «Стали мы в Астрахани за веру християнскую, и за братобритие, и за немецкое платье, и за табак, и что к церквам нас и наших жен и детей в русском старом платье не пущали... и у тех платье обрезывали... и выбивали вон и всякое ругательство нам и женам нашим и детям чинили воеводы и начальные люди...»

О самом Петре говорили: «Не сила Божия ему помогает, ересями он силен, христианскую веру обругал и облатынил... Идти нам до самой столицы, до родни его до Немецкой слободы и корень бы весь вывести...»

Астраханцев поддержали окрестные города, а, кроме того, некоторые местные кочевые племена во главе с родовой знатью, также страдавшие от злоупотреблений царской администрации. Но возмущение в Астрахани оказалось стихийным и слишком неожиданным. Донские казаки не успели присоединиться к нему, и правительственные войска под командованием Б. Шереметева захватили город в марте 1706 года. 365 человек « заводчиков» мятежа отправили в Москву, где после пыток они были казнены.

Но, несмотря на сравнительно легкий успех в астраханском деле, Петру было чего опасаться. Мятежники проявили стойкость и целеустремленность, способность к превосходной

самоорганизации в крайне затруднительных условиях. Во главе их стояли представители купечества, грамотные опытные люди. Причем и они, и большинство восставших были сторонниками старой веры. Шереметев не без опаски писал Петру уже после взятия города: «...Носов[29] великий вор и раскольник, и ныне при нем в шапке никто говорить не может... Я такого многолюдства и сумасбродного люду от роду не видал, и надуты страшною злобою, и весьма нас имеют за отпадших от благочестия».

Но главное — целью восстания был поход на Москву. Для этого старшины и ссылались с соседями и пытались собрать вокруг себя настоящую армию. Петру, занятому войной со Швецией, приходилось думать о том, что собственный народ может оказаться для него опаснее солдат короля Карла XII.

Эти опасения стали реальностью всего через год после подавления восстания в Астрахани. В 1707 году против Петра поднялось «всею рекою» донское казачество во главе с атаманом Кондратием Булавиным.

Правительство нуждалось в солдатах для пополнения армии, в тяглецах для регулярной выплаты податей, в крестьянах, в рабочих для множества строек — в жерле «преобразований» бессчетно сгорали человеческие жизни и экономические ресурсы. Но тяглое население бежало куда глаза глядят от произвола и насилия власти, и в первую очередь на Дон — исконное место укрытия всех недовольных. Петр издал указ, по которому предписывалось возвращать обратно беглецов, появившихся на Дону позже 1695 года. Речь шла самое меньшее — о десятках тысяч человек. Для выявления, поимки и вывоза беглых снарядили отряд под командованием князя Ю. Долгорукого.

Его появление на Дону стало последней каплей, переполнившей чашу народного терпения. Правительство давало понять, что намерено дотянуться до каждого, где бы он ни находился. Спасения не было, оставалось драться. Отряд под командованием Булавина напал на лагерь Долгорукого и вырезал царских солдат всех до одного. Через несколько дней, прослышиав о решительном отпоре царскому воеводе, под знамя Булавина стали собираться охотники со всего Дона.

Война под руководством Булавина в отечественной историографии до 1917 года преподносилась прежде всего как бунт антигосударственного «сброда», а в советское время ее усиленно пытались представить как проявление классовой борьбы против крепостнического гнета. На самом деле это движение значительно сложнее и его подробное и объективное изучение еще впереди. Бессспорно, что в этом народном восстании проявилось и раздражение притеснениями, и недовольство значительно ухудшившимся уровнем жизни, и ростом государственных и помещичьих повинностей, практически не оставлявших возможности заниматься собственным хозяйством. Но все же духовным смыслом противостояния, знаменем, вдохновлявшим на борьбу, было знамя защиты старой православной веры.

Война Булавина была войной за старую веру. Но это не значит, конечно, что целью восставших было просто возвратить в церковную практику дониконовские обряды. В ненависти к никонианству и к новой государственной церкви выразилась народная ненависть ко всей политике нового государства, к его социальной несправедливости, унижению перед иноземцами и духовному разложению. Древлеправославие стало символом национальной полноценности, личного достоинства и свободы.

Задача состояла в том, чтобы вернуть Россию на путь традиционного национального развития, очистить страну от иностранного и иноверного влияния, возродить значение церкви и религии в общественной и частной жизни, заставить власть считаться с интересами коренного населения. Предполагалась масштабная война, и булавинцы собрали в свои ряды не только донских казаков и новопришлых беглых из центральных областей страны, но

запорожцев и даже кочевые башкирские орды. Булавин пересыпался письмами с турецким султаном, ища с ним союза в борьбе с Москвой.

Не было никакого сомнения в том, что если войску восставших удастся войти в русские области, к нему присоединятся множество добровольцев, как было в эпоху ополчения Минина и Пожарского, освободившего древнюю столицу от иноверцев. Булавин рассыпал повсюду грамоты: «За дом Пресвятая Богородицы и за истинную веру християнскую... также сыну за отца, брату за брата и другу за друга стать и умереть заодно. Ибо зло на нас помышляют, жгут и казнят напрасно, и злые бояре и немцы вводят в нас еллинскую веру и от истинной християнской веры отвратили!»

Военное счастье сопутствовало правительенным войскам. Отряды восставших были разгромлены по отдельности, а Кондратий Булавин погиб в бою. После его гибели фактическим руководителем восстания стал атаман Игнат Некрасов. После отчаянных попыток переломить ход войны он во главе нескольких тысяч казаков, вместе с семьями, женщинами и детьми ушел на Кубань. Так было положено начало существованию некрасовцев — уникальному субэтносу, сохранившему исконно русские традиции и культуру на протяжении долгого времени, проведенного в инокультурной среде.

Как ни парадоксально это звучит, но именно благодаря тому, что некрасовские казаки покинули родину, ушли из России, им удалось сохранить национальные традиции и веру предков. В Турции, где проживали некрасовцы после того, как из-за преследования царских войск они были вынуждены покинуть кубанские земли, их не притесняли и позволяли свободно жить по своим обычаям. В среде некрасовцев долгое время существовала особая конституция — так называемые «заветы Игната», правила, которые атаман оставил для своих казаков. Кроме многих других, главным заветом была вражда к той государственности, которая сложилась в России. Староверы-некрасовцы не должны были примиряться с официальной никонианской церковью и возвращаться на родину, пока там существует царская власть.

Игнат Некрасов, конечно, не мог предположить, что после падения царизма духовная жизнь в России ухудшится еще больше. Но его казаки из поколения в поколение твердо следовали заветам атамана, иногда и с оружием в руках выступая против правительенных российских войск.

Война Булавина стала последним крупным организованным восстанием против центрального правительства вплоть до восстания Е. Пугачева, которое случится спустя более чем 60 лет. В последующие годы царствования Петра у разоренной страны уже не было сил оказывать своему императору вооруженное сопротивление. Единственным средством спасения оставалось только бегство — на далекие окраины государства, в Сибирь и даже заграницу. Это явление приняло совершенно невиданные прежде размеры — в бегах числились сотни тысяч человек.

Эпоха Петра Первого стала временем окончательного разделения народа и государственной власти. Раньше, в период сопротивления церковной реформе и начавшемуся уклонению правительства от национальных традиций, неизбежность непримиримого противостояния еще не всем была очевидной. Но теперь, когда в лице Петра совершенно ясно обнаружился новый облик государственности, с одной стороны, ультрасветской, секулярной, безбожной, и грозящей социальной несправедливостью, настоящим рабством — с другой, тогда последовал полный разрыв с ней народа.

Это был уже не только церковный или социальный конфликт, это был всеобъемлющий духовный раскол, в конце концов сделавшийся непреодолимым.

## ГЛАВА 2

В момент смерти Петра его «парарадиз» — новая столица страны Санкт-Петербург, напоминал собой вражескую крепость, окруженную подавленным, но не смирившимся и враждебным к завоевателям населением. По недостроенным проспектам города ездили новомодные европейские кареты и прогуливались прохожие в немецком платье и завитых париках, маршировали солдаты, одетые в мундиры, пошитые по иноземным образцам, звучала иностранная речь, или русская, но сильно замусоренная иноязычными неологизмами, А вокруг, сразу за караульными будками городской стражи, лежала разоренная страна, еще не знавшая о том, что «царя-антихриста» больше нет в живых.

Преемница умершего правителя, императрица Екатерина, вряд ли была рада доставшемуся ей трону. Власть для нее и подобных ей временщиков Петра была единственным средством сохранить жизнь, уцелеть в начавшихся придворных распрях между разными партиями.

О катастрофически тяжелом положении в стране было известно давно. Еще в 1723 году в Сенат приходили сообщения не откуда-нибудь, а из Московской и других центральных провинций, что крестьяне там совершенно изнурены государственными поборами и помещичьими повинностями, что не могут платить ни подушной подати, ни других налогов, что люди голодают и пытаются желудями вперемешку с мякиной, и целыми деревнями вымирают от голода. Для сбора недоимок отправлялись карательные отряды, изымавшие вообще все, что оставалось, а тех жителей, кто не успел умереть, отправляли на галеры или другие принудительные работы.

Распродажа изъятых в таких экспедициях крестьянских «пожитков», понятно, не могла покрыть недостачи налоговых поступлений. Недоимки все увеличивались, а платить их было некому. Наиболее энергичные и предпримчивые люди бежали от притеснений, а остававшиеся на месте под страхом каторги должны были платить и за себя и за бежавших. Те из них, у кого еще оставались силы, — тоже бежали. Для борьбы с неплатежами в Сенат, вполне в духе оккупационного правительства, внесли предложение установить среди крестьян правило круговой поруки: за каждого бежавшего отвечают оставшиеся выборные, но существу — заложники, по законам военного времени. Поразмыслив, от этого отказались потому, что было очевидно, что недоимки проистекают по причине действительной невозможности их платить. Можно было расстрелять крестьян, но карательные меры уже не могли оказать никакого воздействия просто потому, что все платежные способности населения были исчерпаны.

Екатерине сразу при вступлении на престол сообщили о том, что денег в казне практически нет и взять их неоткуда. Генерал-прокурор Ягужинский писал в докладе императрице: «Крестьяне не токмо лошадей и скот, но и семенной хлеб распродавать принуждены, и сами терпеть голод, и большая часть может быть таких, что к пропитанию своему впредь никакой надежды не имеют, и великое уже число является умерших ни от чего иного, токмо от голоду... и множество бегут за рубеж польский и в башкиры, чьему и заставы не помогают...»

Но из всего наследия «реформатора» тяжелейшее экономическое положение в стране было еще не самым страшным. Значительно опаснее для государства были те люди, кому досталась власть после смерти Петра. Они были не только не в состоянии сделать что-нибудь для преодоления кризиса, но с каждым днем еще сильнее углубляли его своими действиями.

Столетиями историки пытаются отгадать кажущуюся им любопытной загадку — кому же умирающий император завещал власть, чье имя так и осталось ненаписанным после

трудноразборчивых слов: «отдайте все...» Беда в том, что отдать «все» было некому. Петр умудрился окружить себя людьми, обладавшими способностями казнокрадов и мошенников, плутов и интриганов, кутил, пьяниц и развратников, но только не государственных деятелей.

Всматриваясь в их лица, узнавая их поступки, нельзя не удивляться тому, что российская государственность вообще сохранилась под их управлением. Впрочем, если она устояла при Петре, ее действительно трудно было свалить чем-нибудь еще.

И все-таки нельзя хотя бы мельком не обратить еще раз внимания на тех, кто вместе с Петром творил «преобразования» и в чьих руках оказалась страна после Петра. Их принято с почти нежной гордостью именовать «птенцами гнезда Петрова». Но существует и другое определение, данное известным историком XIX столетия М. Семевским и гораздо точнее, чем пушкинское, характеризующее этих людей — «исчадия преобразовательной эпохи»{93}.

Ранее уже приводились описания сподвижников Петра, стоявших вместе с ним у начала преобразований. Эти портреты, сделанные современником, князем Б. Куракиным, не могут не поражать своей отталкивающей реалистичностью — образы пьяниц и палачей, людей, совершенно оторванных от всякой национальной традиции, этаких «сорви-голов» и «перекати-поле» в одних лицах. Более чем за 30 лет правления Петра состав его окружения неизбежно менялся, уходили по разным причинам некоторые из прежних «товарищей и сынов», являлись новые. Вот как описывает ближний круг Петра к моменту конца его царствования историк В.О. Ключевский: «Ближайшие к Петру люди были не деятели реформы, а его личные дворовые слуги... Князь Меншиков, герцог Ижорской земли, отважный мастер брать, красть и подчас лгать, не умевший очистить себя даже от репутации фальшивомонетчика; граф Толстой, тонкий ум, самим Петром признанная умная голова, умевшая все обладить, всякое дело выворотить лицом наизнанку и изнанкой на лицо; граф Апраксин, сват Петра, самый сухопутный генерал-адмирал, ничего не смысливший в делах и незнакомый с первыми началами мореходства, но радушный хлебосол, из дома которого трудно было уйти трезвым... барон, а потом граф Остерман... великий дипломат с лакейскими ухватками... робкая и предательски каверзная душа; наконец, неистовый Ягужинский, всегда буйный и зачастую навеселе... годившийся в первые трагики странствующей драматической труппы и угодивший в первые генерал-прокуроры Сената: вот наиболее влиятельные люди, в руках которых очутились судьбы России...»{94}

Этих «влиятельных людей» могло быть еще больше, если бы некоторых из них не успел повесить сам Петр, как, например, взяточника обер-фискала Нестерова и сибирского губернатора князя Гагарина, в воровстве государственных средств, пожалуй, и превзошедшего даже отчаянного Меншикова.

Другим лицом, также имевшим немалое, а после занятия престола — и главное влияние на дела в государстве, по крайней мере формально, была супруга Петра, Екатерина. Это женщина столь скромного происхождения, что официальные историографы дореволюционного времени оказывались в непростом положении, касаясь истории жизни первой российской императрицы. Попросту говоря, она была крепостной крестьянкой лифляндского помещика, но не в этом заключалась главная проблема ее биографии. Ее старшая сестра, по-видимому, зарабатывала на жизнь проституцией в Ревеле{95}, а сама Марта, как звали будущую императрицу, являлась определенное время наложницей, или содержанкой, нескольких человек, прежде чем стала любовницей Петра. Причем император относился поначалу к ней так же, как к временному увлечению, хотя уже имел от нее ребенка — дочь Анну. Еще в 1708 году, в разгар Северной войны, он дал распоряжение относительно нее на случай своей внезапной гибели: «тогда три тысячи рублей... отдать Катерине Васильевской[30] и с девочкою...»

Впрочем, в отношениях с Екатериной Петр Первый продемонстрировал необыкновенное постоянство. Она действительно оказалась привязанностью всей его жизни, что не

исключало, конечно, регулярных измен. Эта женщина сумела стать родным и незаменимым человеком для императора, обладая психологической властью над тем, кто был порой страшен для окружающих. В моменты обострения душевного расстройства, припадков необузданной ярости или тревоги, часто внезапно случавшихся с Петром, только у нее на коленях он успокаивался и мгновенно засыпал — к большому облегчению всех придворных.

Будучи хорошей женой, Екатерина стала очень плохой императрицей, однако ее трудно винить за это. Она оказалась облечена верховной властью не по своей воле — каприз Петра, стеченье обстоятельств, случай или судьба вознесли ее из «портомой» на российский трон. Трагедия для страны заключалась в том, что «в лице Екатерины I на престоле явился фетиш власти», и стоявшие за ее спиной сподвижники Петра «принялись торговать Россией, как своей добычей»<sup>{96}</sup>. Это удивительно верное и вместе с тем страшное по своему смыслу заявление, принадлежащее В.О. Ключевскому. Оно кажется тем примечательнее, что перекликается со словами объективного исследователя периода российской истории XVIII—XIX веков М. Семевского, отзывающегося о правлении самого Петра Первого и его преемников — как о «новой татарщине» для России<sup>{97}</sup>.

В этих признаниях заключен приговор целой эпохе, ставшей ключевой для дальнейшего развития государства. Россия была завоевана собственным правительством и высшим сословием, совершившими государственный переворот, разрушившими прежние нормы социальных отношений и превратившими страну в свою военную добычу.

Только один Меншиков, кроме огромных земельных владений, добытых им отчасти благодаря милости Петра, отчасти благодаря злоупотреблениям властью, кроме роскошных дворцов, золота и драгоценностей, перевел в заграничные банки «на черный день» порядка 5 миллионов рублей, что превышало половину годового бюджета России к концу правления Петра Первого. Иначе говоря, только части наворованных богатств императорского денщика Алексашки Меншикова хватило бы на то, чтобы купить у шведов Лифляндию с Карелией и не ставить страну на край гибели и разорения в Северной войне.

Но эта черта — относиться к государственной казне как к своему собственному кошельку, оказалась свойственна всем преемникам Петра Первого, а также их многочисленным фаворитам и временщикам. Причем, подобно Меншикову, все эти люди смотрели на Россию, как на случайный источник богатства, действительно как на военную добычу, которая вот-вот ускользнет, и спешили набрать побольше. Императрица Елизавета, по замечанию В.О. Ключевского, «лично для себя копила деньги, как бы собираясь бежать из России, и забирала текущие казенные доходы...»<sup>{98}</sup>.

«Новая татарщина»! Но и во время выплаты дани ханам Золотой орды страна не знала такого разорения. В каждое новое правление появлялось несколько лиц, которые фактически присваивали себе большую часть бюджета государства, распоряжаясь в России, как в своей усадьбе. При Екатерине это был Меншиков, при Анне — Бирон и его семья, при Елизавете — Воронцовы, Шуваловы, Разумовские; при Екатерине Второй, правившей дольше всех, — временщиков и казнокрадов было еще больше, но и население страны несколько увеличилось к тому времени, так что «кормов» хватало всем фаворитам с избытком.

Кроме этого, яркой чертой новой государственности, с самого начала ее возникновения при Петре, было присутствие большого числа иноземцев на всех ступенях бюрократической иерархии, в армии, непосредственно вокруг трона и среди ближайших родственников правителей. Но главное — в условиях законодательного запрещения русских национальных обычаяй и традиций — подражание «немцам», переодевание в «немцев», рабски слепое преклонение перед иностранной культурой стало обязательным для императорского двора и всего высшего сословия.

Иноземцы занимали офицерские должности в армии, руководящие места в администрации,

задавали тон в моде и писали русскую историю. Достаточно красноречив состав Российской Академии наук: первым президентом был Блюментрост, его последовательно сменяли на председательском посту Кайзерлииг, Корф, Бреверн... Членами Академии были — Герман, Бернульи, Бильфингер, Делиль, Байер, Юнкер, Вейтбрехт...

Считается, что засилье иноземцев достигло своего апогея в период правления императрицы Анны Иоанновны. Это, действительно, было тяжелое время для русского народа, национального достоинства и культуры. Так называемая «бироновщина» была сравнима просто с настоящей оккупацией страны, но не легче оказалось и после падения Бирона. Например, Анна Леопольдовна, правительница России при малолетнем сыне — императоре Иоанне V, отзывалась о коренном населении империи предельно кратко: «русские свиньи»!

Исторические факты свидетельствуют, что действия правительства в России начиная с царствования Петра и далее носили столь откровенно антинациональный характер, что, объективно говоря, их затруднительно сравнить даже с «татарщиной». Ордынские владыки редко вмешивались во внутренние дела страны, никогда не навязывали Руси свою культуру, не покушались на народные обычаи, уважали православную веру. Здесь же в новой столице утвердились власть, превратившая Россию в завоеванную колонию.

Едва ли не с отчаяния от невозможности отыскать в действиях правительства хотя бы что-нибудь, что было бы направлено не на унижение национальной чести и разрушение экономики, историками был распространен миф о существовании «русской» партии при дворе. Кого только не записывали в нее. Там по очереди состояли и царевич Алексей, и малолетний Петр Второй, и представители родовой аристократии, вроде князя Д.М. Голицына, и Волынской — коротко говоря, в нее записывали всех, кто оказывался по разным причинам во временной оппозиции правительству.

Сам этот миф, возможно, родился в народе, все же не верившем до конца, что страна и впрямь попала под иго, от которого нет спасения. Ненависть к засилью иностранного культурного влияния, протест против социального угнетения требовали найти крайних виновников и одновременно тех, кто восстановит справедливость. И все же для большинства простых людей эти надежды не были облечены в образ конкретного героя. Последним, кого знали в народе и на кого надеялись лично — был царевич Алексей, про которого и после его смерти ходили слухи, что он чудом спасся от лютого отца «и теперь уже с казачьим войском идет на Москву».

Имя Елизаветы, как главы «русской» партии, впервые было провозглашено в среде придворной гвардии. Несмотря на крайнее легкомыслие, цесаревна, хотя бы в целях самосохранения, а также следуя советам некоторых близких лиц, издавна сообразила наладить добрые отношения с гвардейцами. Она запросто приезжала в полки, раздавала деньги, крестила солдатских и офицерских детей. Ее близкая подруга княжна Голицына действовала в интересах цесаревны другими средствами — в компании еще нескольких молодых придворных дам она отправлялась в гвардейские казармы, где ночи напролет длились бесстыдные оргии. Пьяниству и отдаваясь солдатам, эти дамы из окружения Елизаветы удовлетворяли в первую очередь собственные порочные наклонности, но в то же время и служили своего рода наглядной рекламой для своей патронессы в глазах гвардейцев.

Тем временем озлобление против иноземцев в самой столице достигло крайних пределов. Солдаты Семеновского полка возмутились против собственных офицеров-немцев, кричали им: «У нас указ есть... надоно вас, иноземцев, прибить до смерти, вас всех перевешают!» А посреди собравшейся толпы громко поддерживали семеновцев: «Надобно иноземцев всех уходить!»

Положение при Бироне было столь тяжелым, что, словно забыв о том, каким лихом явился

для России Петр, в его дочери стали видеть избавительницу от немецкого засилья! С ней связывали едва ли не надежду на возрождение русских традиций, поворот правительства лицом к народу и его нуждам.

Этого, конечно, не случилось. Правление Елизаветы было таким же «немецким» по духу, как и правление ее предшественников и преемников у власти. Но миф о «русскости» и «народности» этой императрицы уцелел, потому что был необходим для легитимации власти. В доказательство некоторые исследователи умолялись тому, что дочь Петра иногда любила послушать русские песни в исполнении своих дворовых девушек... С.М. Соловьев смотрел еще глубже, полагая, что именно Елизавета занялась «нравственным преобразованием человека и общества», заботилась о «признании в каждом человеке достоинства человеческого...»{99}.

Трудно сказать, на чем основывал уважаемый историограф свои благодушные утверждения. Его сочинения ценны с точки зрения обилия фактов, многочисленных цитат из источников, но выводы и суждения часто пристрастны или находятся в очевидной зависимости от цензуры.

Более точен в своей оценке Елизаветы был писатель и поэт Л.К. Толстой, давший ей известную поэтическую характеристику:

Веселая царица

Была Елисавет.

Поет и веселится,

Порядка только нет...

При веселой Елизавете не было не только порядка, но и справедливости. Именно в ее правление происходит окончательное законодательное закрепление за русским народом рабского статуса: одним из первых указов Елизаветы по восшествии на престол был запрет крепостным крестьянам приносить присягу монарху. Таким образом, абсолютное большинство населения страны лишалось последнего признака гражданственности, превращалось в массу невольников-париев, находящихся уже официально вне правового поля государства.

При «немецком» правительстве Анны старший брат Бирона, Карл, устроил у себя в имении гарем, куда насилино свозили крепостных девушек. Там же была устроена псарня, где крестьянки должны были грудью выкармливать щенков{100}. Надо отметить, что эта «забава» вскоре станет очень популярной у помещиков. Но и при «русском» правительстве Елизаветы двоюродный брат императрицы, граф Гендриков, запросто скег однажды целую деревню и приказал еще перепахать землю, где она стояла, в наказание за то, что крестьяне случайно покалечили пару его охотничьих собак. Дело в том, что во время охоты графские собаки напали на крестьянский скот и порезали овец, а крестьяне пытались помешать им. Елизавета, узнав о происшествии, игриво погрозила кузену пальцем: «Генрих, не шали!»{101}.

В «варварской» дореформенной России действия, подобные тем, что позволил себе Гендриков, назывались разбоем. За них, невзирая на происхождение и чин, били кнутом, лишали имущества и ссылали на покаяние. Теперь разбой и насилие над жителями стали правом «благородного» человека. Редкая охота вельможи обходилась без грабежа, поджогов, порчи посевов, травли людей собаками.

Новые господа, впрочем, не считали русских крестьян за людей, и русская знать перещеголяла в этом отношении иностранцев. Троюродный брат Петра генерал-аншеф Леонтьев, жестоко наказывая своих крепостных, любил приговаривать: «С русскими так и нужно обращаться, это единственный способ с ними управиться».

В начале 1743 года Елизавета издает указ, повторявший многочисленные распоряжения прежних правителей о категорическом запрете ношения русской одежды. Подобные указы выходили и при Петре, и при Екатерине I. Их настойчивость и регулярность показывает, что даже среди дворянства и горожан еще долго находились сторонники национальной одежды. На этот раз запрет был окончательным: «Всякого звания российского народа людям, кроме духовных чинов и пашенных крестьян, носить платье немецкое, бороды и усы брить... А русского платья... и прочих неуказанных уборов отнюдь никому не носить и в рядах не торговати под жестоким наказанием».

Так совершенно недвусмысленно проявилась социальная политика и культурная ориентация императрицы Елизаветы. Она была направлена на подавление правоспособности и духовное угнетение народа.

Эта правительница определенно внесла свой вклад и в «нравственное преобразование человека и общества», но, конечно, на свой лад. Развратная и неумная дочь Петра вела себя во дворце и во всей России, как дикая барыня, вполне в духе нравов своего отца. В случае минутного неудовольствия она била по щекам свою фрейлину, а один раз велела остричь волосы всем придворным дамам. Екатерина Вторая в своих мемуарах так и говорит: «В один прекрасный день императрице нашла фантазия велеть всем дамам обрить головы. Все ее дамы с плачем повиновались; императрица послала им черные, плохо расчесанные парики, которые они принуждены были носить, пока не отросли волосы».

Елизавета считала себя благочестивой христианкой, но в действительности была скорее суеверна, чем религиозна. Она имела очень приблизительное представление о православной вере, а ее богомолья и паломничества к святым местам превращались в блестящие маскарады, роскошные пиры и увеселительные верховые прогулки в сопровождении своих фаворитов.

В отличие от предшественницы и двоюродной сестры, Анны Иоанновны, привязанной к одному фавориту — Бирону, Елизавета была любвеобильна и дарила своей благосклонностью многих кавалеров. Эта любвеобильность очень напоминала распущенность, которую приписывали цесаревне с ранней юности. Иностранный резидент, наблюдавший за петербургским двором еще в царствование Екатерины I, отмечал, что частная жизнь Елизаветы «доходит до бесстыдства»{102}. Молва настойчиво обвиняла цесаревну в связи с племянником, Петром Вторым. Кроме него в списке интимных привязанностей Елизаветы довольно много лиц самого разного происхождения — в любви эта «искра Петрова», подобно отцу, не знала ни сословных, ни каких-либо других ограничений. Среди ее любовников были и ее двоюродный брат Платон Мусин-Пушкин, и матрос Лялин, и генерал-майор Бутурлин, и кучер Войчинский...

Но была ли Елизавета по-настоящему порочна или дурна? Скорее всего, никаких. Она была обычной женщиной, в чем-то несомненно ярче и привлекательнее многих других, способной и на искренние чувства, и на сердечную привязанность. Когда ее фаворита Шубина в правление Анны забрали в Тайную канцелярию и после пыток отправили далеко на север под вымышленным именем, цесаревна не забывала о нем. Она даже хотела постричься в монахини и распорядилась уже было выстроить себе дом при монастыре, но ограничила трогательной элегией собственного сочинения. Однако, едва взойдя на трон, она распорядилась разыскать своего бывшего сердечного друга. Это было очень трудно сделать, но Елизавета настояла на поисках, которые завершились удачей. Шубин был найден и возвращен в Петербург. К этому времени у Елизаветы уже появилась новая привязанность,

Алексей Разумовский. Но Шубин получил чин генерал-майора, ленту Св. Александра Невского и богатое поместье в 2 тысячи душ. Так, по мнению императрицы, была восстановлена справедливость.

Елизавета Петровна утвердила законодательно рабское положение русских крестьян, но ее морганатический супруг при этом был сыном простого малороссийского пьяницы-казака Розума, а мать, Марта-Екатерина, — и вовсе родилась крепостной крестьянкой...

Вряд ли Елизавета вообще задумывалась когда-нибудь о последствиях своих указов, многие из которых она подписывала в перерывах между придворными маскарадами. Власть для нее, как раньше и для ее матери, была средством самосохранения, а позже превратилась в источник удовлетворения своих страстей. В нравственном смысле Елизавета, как и многие другие, стала жертвой системы, которая разделила духовно государя и народ, извратила представления о роли монарха в государстве, превратила его в деспота, освободив от любых моральных обязательств перед страной, и, кроме того, сделала распущенность и разврат нормой жизни.

Сильнее чем социальное неравенство, сословные предрассудки, иностранная одежда и иноземная речь — крайняя испорченность нравов привела высшее сословие к духовному расколу с большинством народа.

Начало ему положили необдуманные и вместе с тем довольно резкие нововведения в русский быт и культуру и царя Алексея, и Феодора, и Софии с ее фаворитом «великим» Голицыным. Но реформаторские усилия Петра Первого привели, без преувеличения, к полной нравственной деградации всех, кто так или иначе имел отношение к петербургскому императорскому двору. Это обстоятельство необходимо четко осознавать, обращаясь к периоду российской истории от начала восемнадцатого столетия.

Плоды произошедшей «революции нравов» были столь печальны, что подвигли известного консерватора времен Екатерины Второй, князя М. Щербатова, к написанию труда под заглавием «О повреждении нравов в России». В нем автор выносил объективный приговор эпохе: «Пьянство, роскошь, любодеяние и насилие место прежде бывшего порядку заступили... Вельможи и вышние впали в роскошь, женыстыд, толь украшающий их пол, стали оный забывать...»

Но это все сказано еще довольно мягко. В других местах своего сочинения Щербатов значительно более резок и откровенен, описывая отвратительные и горькие плоды петровского «просвещения». Среди прочего, пряча жесткую истину во множестве верноподданнических лояльных оговорок, он делает вывод, что именно правление Петра стало началом духовной порчи российского дворянства, а отчасти и всего общества, когда, вслед за поруганием основ православной веры и старых национальных традиций, «нравы... в разврат стали приходить».

Пьянство и распутство при Петре стало обязательной нормой придворной жизни. Всех, кто уклонялся или сопротивлялся «потехам», ждала расправа. Последняя такая «потешная» расправа, которую удалось учинить Петру при жизни, — было наказание придворного Матвея Головина. В самом начале болезни, которая привела его к смерти, в январе 1725 года Петр задумал маскарад в ознаменование своего ожидаемого скорого выздоровления. Головину отведена была роль «черта» и он должен был нарядиться в соответствующий костюм. Матвей Алексеевич из религиозных соображений отказался выполнить приказ императора. Князь П. Долгоруков так передает дальнейшее: «Петр I разгневался и приказал схватить несчастного восьмидесятилетнего старца, раздеть его догола от пояса до ступней и связать ему руки и ноги; его посадили на лед Невы и продержали так целый час с картонными рогами черта на голове. Несчастный схватил горячку и умер 30 января, через два дня после кончины своего августейшего палача...»{103}

Но действия Петра представляли собой не просто хулиганские выходки против церковного благочестия, народных обычаяев и отдельных лиц, как обычно их пытаются представить в исторической литературе. Это было не просто «озорство», а сознательное кощунство, получившее характер подробно разработанного церемониала.

На протяжении всего правления Петра действовал учрежденный им при начале своих «славных дел» «Всесутейший всепьянейший и сумасброднейший собор». Историки спорят о том, являлся ли он пародией на католическую или православную церковную иерархию, был ли очередным плодом личной фантазии Петра, или заимствованием из Европы, наконец — как соотносились в этой затеи развлекательная и воспитательная функции. Да, именно так, воспитательная — ведь нельзя же, в самом деле, представить, чтобы такое безобразие было затеяно «гениальным» царем просто так... Привычка, или политкорректная необходимость оправдывать и извинять любые сумасбродства Петра, заставила и В.О. Ключевского написать, что все его «потехи имели немаловажное учебное значение». Хотя про создание самого Всесутейшего собора историк смущенно заметил, что «трудно сказать, что было причиной этого, потребность ли в грязном рассеянии после черной работы, или непривычка обдумывать свои поступки»{104}. Но Ключевский прекрасно знал о том, что регламент и состав «собора» были как раз продуманы Петром до мельчайших подробностей, со своей иерархией и обрядностью, сохранявшимися почти без изменения на протяжении всего правления — более тридцати лет!

Церемония проведения собора была обставлена столь непристойно и в таких терминах, о которых, по словам очевидца, князя Б. Куракина, «запотребно находим не распространять, но кратко скажем: к пьянству и к блуду, и к всяkim дебошам»{105}. Уважая и разделяя скромность князя Куракина, представляется, что некоторые подробности все же необходимо упомянуть для лучшего понимания характера и нравов Петра и его окружения. Все участники этого ордена пьяниц и богохульников носили прозвища, основанные на произведении от нецензурного названия мужского детородного органа. Петр имел там чин протодиакона с именем «Пахом пихай х...»; далее шли диакон И. Бутурлин — «попирай...», ключари: Апраксин «почини...», Хилков «ери...», ризничий Мусин-Пушкин «изымай...», а также: Шемякин «дунь на...», Тургенев «сомни...», Васильев «розмахни...», Тимашев «возьми...» и прочие{106}.

При поставлении всепьянейшего «патриарха» кандидат, кроме множества других скабрезных и пошлых действий, должен был отвечать на ряд вопросов, кощунственно пародирующих чин поставления в архиереи. Над ним произносили такой текст: «Рукополагаю аз пьяный сего не трезвого: во имя всех кабаков, во имя всех Табаков, во имя всех водок...» После того одевали на нового «патриарха» шутовской головной убор с изображением кружки, возглашая: «Венец мглы Бахусовой возлагаю на главу твою. Да не познаеши десницы твоей, ниже шуйцы твоей во пьянстве твоем»{107}. После этого возглашали «аксиос! — и начиналась оргия. Причем если чины членов собора — диаконы, ризничие, архидиаконы и т.д. — копировали церковную иерархию, то сами попойки являлись, по мысли Петра, пародией на церковную службу.

После того как выпито было порядком, принимались за настояще «веселье». Князь Куракин описывает некоторые подробности этого: «На многих платье дирали и оставляли нагими, иных гузном яйцы на лохани разбивали, иным свечи в проход забивали, иных на лед гузном сажали, иных в проход мехом надували... иным многая другие ругательства чинили. И сия потеха так происходила трудная, что многие к тем дням приуготовливалися как бы к смерти».

Не так важно — заимствовал ли Петр идею «всесутейшего собора» из Европы, или опирался на собственную фантазию, затевая свой шутовской орден. Он стал зримым воплощением поругания над благочестивой стариной, стал символом соблазна и греха, которыми Петр наполнил и отравил страну. Эта пьяная компания не ограничивалась стенами царского дворца, она с самого начала выплеснулась на улицы старой Москвы, в вывернутых наизнанку шубах скака в санях, запряженных козлами, ослами и свиньями, ударяя в бубны, давя и

разгоняя жителей, ругаясь над их обычаями и верой. Пьяными они заваливались в церкви, в частные дома, чинили погромы и насилия, оскорблении православным святыням — всесущий «патриарх» Зотов «благословлял» сложенными крестом табачными трубками...

Особенно веселились «соборяне» Петра в Великий пост. Берхгольц писал об этом: «В прежние времена в Москве всякий год в Вербное воскресенье бывала особенная процессия, в которой патриарх ехал верхом, а царь вел лошадь его за поводья через весь город. Вместо всего этого бывает теперь совершенно другая церемония: в тот же день князь-папа (Зотов) с своими кардиналами ездит по всему городу и делает визиты верхом на волах или ослах, или в санях, в которые запрягают свиней, медведей или козлов...»

Необходимо знать православные традиции и всю важность для православных христиан праздника Вербного воскресенья, как и Великого поста в целом, чтобы попять настоящую степень допущенного кощунства.

Свиньи могут стать символом всей, страшной для России, эпохи Петра. Они сопровождают его на протяжении всего царствования, участвуют во многих знаковых событиях — именно на свиньях, после подавления стрелецкого бунта, волокут под эшафот труп боярина Милославского, чтобы кровь казненных стекала прямо в гроб, на покойника. На свиньях ездят участники всесущего собора во главе с Петром, без них не обходится ни маскарад, ни важное торжество. По свидетельству Берхгольца, в петровской кунсткамере хранился странный экспонат — свинья с человекообразным лицом, густо поросшим щетиной. Свиньи непременно участвуют в шутовских свадьбах и похоронах, затевать которые Петр был большой мастер и охотник.

Свиное рыло или уродство всюду — где происходит поругание национальных обычаем, где оскорбление православных святынь. Если видна где-то рядом с Петром старинная русская одежда — так непременно или на придворных шутах, или на ряженых участниках пьяной оргии. На свиньях и козлах едут петровские «птенцы» на безобразную свадьбу «патриарха» Зотова. К Архангельскому собору, где назначено венчание, приезжают в невообразимом шуме, потому что у каждого в руках или медные тарелки, или гудки и балалайки, охотничьи рожки и проч. По описаниям, «в храм и из храма процессия шла с музыкою. К диким звукам гудков, свистков, тарелок и тому подобных инструментов присоединялся колокольный звон всех церквей» — так Петр велел звонарям древней православной столицы почтить жениха — «всесумнейшего и всесущего патриарха московского, кокуйского и всея Язуы».

Любопытно, что среди обвинений в адрес казненного Петром князя Матвея Гагарина было объявлено следующее: «Потворствовал пристрастиям народа и раскольников, отказавшись от парика, сменив европейское платье на русский костюм, подчеркивая свою набожность и соблюдая посты...» Гагарин был казнокрадом и благочестие его во многом было показным — так он рассчитывал привлечь симпатии простого народа. Но важно, что наряду с мздоимством набожность и соблюдение церковных постов становились государственным преступлением в глазах правительства. Гагарин и повешен был в русских домашних сапогах и кафтане. По затее Петра тело князя вешали трижды — первый раз в присутствии его родственников и самого императора, потом уже мертвое тело вешали рядом с эшафотом, где были воткнуты на колья головы казненных ранее но делу царевича Алексея, также обвинявшихся в симpatиях к старине, и в третий раз труп Гагарина повесили для того, чтобы отправить в Сибирь, где он должен был сгинуть прямо на виселице.

Петр был непримиримо жесток со своими противниками, не гнушаясь поруганием мертвых, но иногда проявлял и удивительную снисходительность — когда одна из его любовниц, Авдотья Чернышева, заразила Петра сифилисом, он ограничился тем, что приказал мужу Чернышевой как следует высечь ее. От этой женщины император имел, по некоторым известиям, несколько внебрачных детей{108}, а ее бабка, Дарья Гавриловна Ржевская, была

знаменитой князь-игуменьей всесущей собора, принимая активное участие в самых развратных оргиях и попойках.

Петру приписывали много незаконнорожденных детей, и отделить правду от сплетни было трудно еще при жизни императора, а теперь и вовсе невозможно. Гораздо важнее, что причиной этих слухов был действительно крайне свободный и порочный образ жизни императора.

Легко было складывать сплетни о внебрачных отпрысках Петра, если даже его официально признанные дочери от Екатерины были незаконнорожденными. Анна и Елизавета появились на свет до формального заключения брака родителей, в то время, когда Екатерина-Марта была фактически одной из наложниц Петра.

Цесаревны являлись дважды незаконнорожденными, потому что на момент их рождения их мать состояла в официальном браке с другим человеком. Муж Екатерины-Марты, с которым она обвенчалась еще до прихода российских войск в Лифляндию, служил в шведской армии, попал в плен и не знал еще, что его супруга сделалась любовницей самого русского царя. Данное обстоятельство, а также низкое происхождение Екатерины и ее сомнительная репутация — все это было известно и давало повод для неприязненного и резкого отношения к новой семье Петра среди тех, кто сохранял представления о морали и приличиях. Когда в 1730 году, после смерти Петра Второго, последнего законного представителя династии Романовых, обсуждали кандидатуру Елизаветы в качестве наследницы престола, князь Д.М. Голицын открыто высказал то, что думали многие — «Не хотим выглядков Петра».

Тогда попробовали обратиться к единственной законной отрасли царского рода — герцогине курляндской Анне, дочери старшего брата Петра. Но из этой попытки не вышло ничего хорошего. Правление Анны Иоанновны не только не исправило нравы высшего общества, но сильно способствовало их дальнейшей деградации.

Л.И. Герцен так выразил существо нравственного переворота, произошедшего в русском государстве в начале XVIII столетия: «Допетровская Русь прошла к новой России через публичный дом».

Говоря точнее — Русь заставили пройти через осквернение ее духовных основ, оскорбление традиционных нравственных начал, и пример здесь подавало само правительство в лице стремительно сменявших друг друга «государей» и «государынь».

В этом осквернении и состояла так называемая «семейная реформа» Петра, что не помешало многим историкам отдать дань своего восторга перед ней, как очередным вкладом императора в народное просвещение. Такая позиция противоречит очевидным фактам, но это не останавливало и не останавливает исследователей, цель которых не объективное изучение прошлого, а сочинительство исторических небылиц и создание мифов вокруг определенных событий и личностей.

Доказательство необходимости и положительного значения «семейной реформы» основано на самом бессовестном очернении русского дореформенного быта. Здесь точка зрения многих авторов почти полностью совпадает с содержанием записок иностранцев, которые не жалели черной краски для изображения жизни «московитов». Причины столь негативного и необъективного отношения иноземцев уже рассматривались ранее, но не может не огорчать, что отечественные исследователи сами давно усвоили этот чужой враждебный взгляд на собственных предков.

В качестве одного из главных проявлений «дикости» указывается на строго регламентированное поведение женщины в русском доме дореформенной поры. Причиной этого служила якобы despoticески бесконтрольная власть супруга. С.М. Соловьев указывал и на другое обстоятельство: «Грубость нравов делала невозможным пребывание женщины в

мужском обществе», — писал он{109}. Это несправедливые утверждения, происходящие от заведомо неверного взгляда на проблему. Дело не в деспотизме или «грубости», которых и после реформ Петра было в избытке в семейном быту. В действительности традиционная русская семья была основана на принципиально других ценностях, чем те, которые были навязаны обществу в результате петровских преобразований. Осознание греховности мира, боязнь греха, забота о душевном спасении близких делали ее подобием монастыря «в миру». Конечно, бывали исключения, случались множественные примеры недостойного поведения, злоупотребления супружеской властью и проч. Но, сколько бы их ни было, — описанный выше благочестивый образец был своего рода общественным идеалом, к которому следовало стремиться.

В результате петровской «реформы» были сформированы совершенно другие ценности — общественным идеалом становится приобретение материальных благ, удовлетворение чувственных потребностей. Секуляризация сознания и быта привела сначала к нравственному разложению высшего сословия, а через него оказала вредное влияние на духовное развитие народа. Князь П. Долгоруков откровенно и резко писал об этом: «Безнравственность и бесчестие... нисходящие с высоты престола, должны были разлагающим и развратительным образом действовать на всю нацию»{110}. Степень этой безнравственности, распространившейся после разрушения традиционных начал русского общества, была столь велика, что не может не поражать, особенно в сравнении с дореформенным русским бытом. Если говорить о «грубости нравов», то она наступила и развилась по-настоящему именно тогда, в попойках Всешутейшего собора, в оргиях и разврате времен Екатерины, Петра Второго, Анны и Елизаветы... Иллюстрацией того, как изменилось в XVIII веке положение женщины, «освобожденной из терема», служит признание князя М. Щербатова: «Можно сказать, что честь женская не менее была в безопасности тогда в России, как от турков во взятом граде...»

Это достаточно красноречивое и сильное заявление человека осведомленного, которое может дать представление о состоянии нравов в «просвещенной» Петром России. Щербатов передает шокировавшие его самого факты, как фаворит малолетнего Петра Второго, князь Иван Долгоруков, вел себя в Москве подобно язычнику в завоеванном городе, не только насилия любую приглянувшуюся ему горожанку, но и «приезжающих женщин из почтения к матери его затачивал к себе и насиливал. Окружающие его однородны и другие младые люди, самым распутством дружбу его приобретения, сему примеру подражали». Откровенно сожительствуя с женой князя Трубецкого, Долгоруков не стеснялся приезжать к нему домой и, пьянствуя в компании своих сообщников, «бивал и ругивал мужа и... по исполнении многих над ним ругательств, хотел наконец его выкинуть в окошко...»

Нечто даже отдаленно похожее на приведенные примеры было совершено немыслимо в «старом» русском обществе. Пьянство, супружеская неверность, наконец откровенный бесстыдный разврат — стали нормой для общества нового.

Одной из его ярких примет становится распространение числа незаконнорожденных детей. В незаконнорожденности из-за супружеской измены матери подозревали и Петра Первого, и императрицу Анну, и многих других представителей династии. Но самое примечательное, что это обстоятельство уже никого не удивляло и не шокировало. Оно становилось почти естественным. Неслучайно много позже, в XIX столетии, император Николай Павлович в ответ на замечание князя А.Ф. Орлова о том, что невеста наследника, цесаревича Александра, будущего Александра Второго, на самом деле незаконнорожденная дочь герцогини Гессенской от ее сожителя камергера да Граней, невозмутимо возразил: «А мы-то с тобой кто?..».{111}

Истории о монарших прелюбодеяниях, супружеских изменениях и незаконнорожденных детях становятся неотъемлемой чертой каждого царствования. Вне зависимости от того, имели под собой основание слухи в том или ином конкретном случае, общая распущенность нравов

положила несмыываемое пятно позора и подозрений на происхождение почти всех правителей империи.

Сразу после свадьбы герцога Голштинского Карла на дочери Петра, Анне, стало известно, что он не бывает с женой, проводя время у некой «московской гризетки». Но сама цесаревна не скучала в одиночестве, по донесениям саксонского резидента, «вознаграждая себя, ночуя то у одного, то у другого», причем в обществе своей двоюродной сестры — будущей императрицы Анны Иоанновны{112}. В качестве настоящего отца ребенка цесаревны Анны Петровны, будущего императора Петра Третьего, уверенно называли не герцога Карла, игнорировавшего исполнение своего супружеского долга и, по некоторым известиям, вообще не способного иметь детей, а Брюмера, гофмаршала голштинского двора{113}.

Что же касается императора Павла, то сомнения насчет его происхождения состояли только в том, сын ли он Сергея Салтыкова или кого-то другого[31], но об отцовстве Петра Третьего здесь уже не было и речи.

В условиях, когда внебрачные связи оказались не просто допустимыми и «естественными», но получили значение едва ли не равное супружеским отношениям, само понятие незаконнорожденности начинало стираться, как это было во времена языческого варварства, когда не существовало четкого разграничения между статусом супруги и собственно наложницы, и решающее значение имел не христианский закон, а воля мужа-господина. Именно он, глава рода, хозяин-патриарх, решал, кто из его потомства, как правило весьма многочисленного, достоин быть облечен всеми правами, получить долю в наследстве, а кто — стать изгоем или даже рабом.

В это состояние первобытной дикости российское высшее сословие оказалось погруженным благодаря усилиям Петра Первого. Он по личному капризу признал детей от наложницы, казнив своего законного сына Алексея. При этом император-просветитель и после него представители династии и придворной знати утратили всякое представление о приличиях и стыдливости до такой степени, что практически никто из потомков аристократических фамилий не мог быть уверен в том, что его отцом является тот, чью фамилию он носит. И наоборот, появилось многочисленное потомство от побочных связей, которому отцы желали придать статус законности — для этого было выработано даже специальное правило, получившее широкое распространение — присвоение незаконному отпрыску «усеченной» фамилии. Такbastard князя Трубецкого стал Бецким, Репнина — получил фамилию Пнин и т.п. В иных случаях незаконные дети получали фамилию кого-нибудь из небогатых дворян, которые за вознаграждение соглашались усыновить отпрыска богатого соседа, как было с поэтом Жуковским, незаконнорожденным сыном помешника Бунина.

Граф Кирилл Разумовский дал своим детям от содержанки фамилию Перовских, по имению Перово. Из этого семейства впоследствии вышло несколько государственных деятелей, в том числе министр внутренних дел, а также известная революционерка Софья Перовская. Отец А. Герцена — аристократ Иван Яковлев присвоил любимому побочному сыну фамилию, образованную от немецкого «Herz» — сердце. А его брат, бывший одно время обер-прокурором Святейшего Синода, Александр Яковлев, напротив, так мало интересовался судьбой своих незаконных детей от многочисленных невольниц — крепостных крестьянок, что не всех из них помнил в лицо. И только одного он усыновил официально, передав свою фамилию и все права наследства, чтобы оно не досталось родственникам. Остальные дети А. Яковлева по-прежнему оставались крепостными.

Но подобное отношение к потомству от «случайных» связей с крепостными невольницами было общим правилом среди господ. Например, у А. Волынского, кабинет-министра императрицы Анны, признанного многими историками прогрессивным деятелем России, было несколько детей от крепостных женщин, которых он записал в ведомости как своих дворовых слуг и ничем не выделял из толпы остальных рабов. Впрочем, это было только начало. В

далнейшем дети и внуки вельмож первой половины XVIII века сумеют превзойти в низости и дикости своих предков.

В дворянских усадьбах середины девятнадцатого столетия обычным явлением будет наличие среди дворни незаконнорожденных детей помещика или кого-то из его ближайших родственников. Писательница Елизавета Водовозова, родившаяся в 1844 году, вспоминала, что в пору ее детства в доме ее матери жила дворовая женщина, которая «была плодом любви одного нашего родственника и красавицы-коровницы на нашем скотном дворе». Барыня потом выгодно продала ее вместе с мужем соседним помещикам...

По рассказу французского мемуариста, жившего в Петербурге, один гвардейский офицер времен императора Александра Первого имел такой план поправить дела своего имения, который и представил своим друзьям: «Я продал мужиков своей деревни, там остались только женщины да хорошеные девки. Мне только 25 лет, я очень крепок, еду я туда, как в гарем, и займусь заселением земли своей... Через каких-нибудь десять лет я буду подлинным отцом нескольких сот своих крепостных, а через пятнадцать пущу их в продажу. Никакое коннозаводство не даст такой точной и верной прибыли...»

В усадьбе богатого рязанского помещика генерала Л. Измайлова, видного участника Отечественной войны 1812 года, в его крепостном гареме в качестве наложниц использовались собственные незаконнорожденные дочери генерала, прижитые им от других рабынь, а побочные сыновья терялись среди многочисленной дворни. По случайному капризу Измайлова одному из них он вдруг оставил значительную часть своего состояния. Другие были обречены на унижение и нищету.

Все это примеры бесконечного морального одичания и настоящей «грубости нравов» высшего сословия, каким оно вышло из преобразований Петра. Разгром традиционных начал русской жизни, духовной культуры и социальной организации, совершенный в начале XVIII столетия под руководством этого императора, сопровождался небывалым насилием, был основан на унижении и подавлении каждой отдельной личности и народа в целом. Привычка к насилию и абсолютному пренебрежению частными правами стала определяющей нравственной характеристикой тех, кто получил привилегированное положение в новом государстве.

Но цена этих привилегий была слишком высокой — за право иметь рабов русское дворянство само пожертвовало свободой и независимостью. Владение поместьями и крепостными крестьянами было возможно сначала только при условии верной службы режиму, а также исключительной лояльности ему. Дворянское поместье, таким образом, являлось не самостоятельным независимым владением, а вознаграждением за покорность государственному строю вместе со всеми его нововведениями и, одновременно, за охрану этого строя. С введением Табели о рангах дворянство окончательно превратилось в сословие гражданских и военных чиновников, «благородство» которых определялось не происхождением, не знатностью и стариной, а положением в служебной иерархии.

Правители смотрели на «благородное» сословие, как на свой охранный корпус в завоеванной, но неспокойной стране. Николай Первый, обращаясь к дворянству, прямо говорил: «Вы моя полиция»!<sup>{114}</sup> И после того, как в результате нескольких законодательных актов дворянство добилось освобождения от обязательной государственной службы, эти полицейские обязанности оставались за ним как непременное условие сохранения привилегий. Русские помещики эпохи XVIII и XIX веков на деле стали сословием тюремных надсмотрщиков, своего рода «вольноотпущенников» среди порабощенного населения.

Они отгородились от народа господской властью, сословной исключительностью, одеждой, языком и привычками. Воспитание дворянских детей было направлено на то, чтобы превратить их в чужеземцев в собственной стране, привить им взгляд на русских крепостных

крестьян как на рабов, убить чувство кровного и духовного родства со своим народом.

Разрыв связей с национальной культурой был единственным результатом, которого достигло подобное воспитание. Высшее сословие оказалось дерусифицированным, но, конечно, даже в лице представителей знати не смогло и вполне перевоплотиться в европейцев. Из европейской культуры русские дворяне усваивали прежде всего то, что в конечном счете служило дальнейшей деградации духовных ценностей — материальные новинки, делавшие более удобным и комфортным быт, и всевозможные способы для досужего развлечения, в том числе — разжигания чувственности, чему способствовало большое число любовных романов или подобных сочинений, приходивших из-за рубежа. Знакомство с общественно-политическими идеями было поверхностным и затрагивало только столичные слои дворянства. Провинциальные помещики вовсе вели образ жизни чрезвычайно неприглядный. Князь П. Долгоруков так описывает его: «Охота осенью и зимой; пьянство во все четыре времени года; отсутствие книг и газет... Невежество доходило до крайних пределов»{115}.

Те, кто имел больше средств, получали образование, внешне казавшееся блестящим, но в действительности это был красивый фасад, за которым скрывалась духовная пустота. Аристократы, лишенные крепких нравственных и религиозных основ в своем воспитании, обучались заграницей не совсем тому, зачем их туда посылали, усваивали привычку к порочным удовольствиям — вроде одного мемуариста, князя, описывавшего свои ужины в Амстердаме «с раздетой dochista женской прислугой»{116}. По замечанию В.О. Ключевского, самих иностранцев удивляла в русских аристократах странная «смесь заграничных пороков с дурными родными привычками, которая... вела только к духовной и телесной испорченности»{117}.

Эта испорченность развивалась тем быстрее, чем легче можно было удовлетворить дурные наклонности. Созданные в первой половине XVIII века государственная система и социальная структура общества, всемерно расширявшие права «благородного шляхетства», на практике способствовали дальнейшей нравственной деградации дворянства, практически не оставляя выбора и самым здоровым и сильным представителям сословия.

Постепенное освобождение от обязательной службы и одновременное пожалование все новых и новых привилегий лишают дворян чувства социальной ответственности, дают им свободное время и гарантированный доход, извлекаемый из труда закрепощенных крестьян, чтобы заполнить досуг разнообразными удовольствиями, не требуя взамен ничего, кроме лояльности режиму.

Еще со второй половины XVII века происходил процесс сближения статуса «поместья» — земли, даваемой временно за службу, и «вотчины» — наследственного родового имения, не связанного напрямую со службой. Служилое поместье все чаще смешивалось в практической жизни и по своему юридическому статусу с вотчиной, приобретало черты тоже наследственного владения. Дальнейшему сближению способствовал указ Петра «О единонаследии» от 1714 года. В нем все земельное владение помещика, вне различия от того, родовое оно или выслуженное, получает единое наименование «недвижимой вещи». Таким образом, хотя император и требовал от дворянства обязательной службы, фактически при нем прежнее условное временное земельное держание приобретает статус наследственного. Это обстоятельство не было четко обозначено в указе, но, как правило, все умолчания и неясности истолковывались в пользу землевладельцев. Так что петровский указ значительно расширял на практике права и возможности дворян в распоряжении своими имениями.

В марте 1731 года появился закон, уже окончательно смешавший поместья с вотчинами. Отныне любое пожалование земли с крестьянами означало их переход «в полную наследственную собственность» помещика{118}.

Сокращались сроки обязательной дворянской службы. При Петре она считалась пожизненной. В 1736 году Анна Ивановна ограничила ее 25 годами. Кроме того, отцам, имевшим более двух сыновей, одного из них разрешалось вовсе не отдавать в службу, оставив в имении для помощи в хозяйстве. Правительство закрывало глаза и на распространявшийся среди помещиков обычай записывать сыновей в полки сразу после рождения, значительно сокращая тем самым фактический срок их службы «престолу и отечеству».

В 1762 году Петр Третий издает свой «Манифест о вольности дворянской», в котором, кроме многих других привилегий, провозглашалось, что «никто уже из дворян российских неволею службу продолжать не будет... разве особливая надобность востребует, но то не иначе, как за подписанием нашей собственной руки именным указом повелено будет».

Одновременное с эмансипацией от государственных обязанностей последовательное юридическое расширение прав дворян в распоряжении личностью и трудом крепостных крестьян создало совершенно особый социальный тип — русского помещика. Его паразитическое существование было основано на насилии и социальной несправедливости, введенных правительством в ранг закона. \* \* \*

Крепостнические отношения, все более ужесточаясь с конца XVII века, к середине восемнадцатого столетия привели к тому, что положение русских помещичьих крестьян ничем не отличалось от рабства, причем в самых грубых его формах, распространенных разве что в древности или в колониях Нового Света. По замечанию В.О. Ключевского: «Закон все более обезличивал крепостного, стирая с него последние признаки правоспособного лица»{119}.

В правление Петра и его ближайших преемников правительство и дворянство, допуская чрезвычайное насилие по отношению к крепостным людям, действовали фактически беззаконно, злоупотребляя теми правовыми нормами, которые находились в законодательстве и хотя бы отчасти ограничивали помещичий произвол. Кроме того, в это время появляется ряд прямо дискриминационных постановлений. В частности, крепостные были лишены права владеть недвижимым имуществом. Однако именно правление императрицы Елизаветы стало началом неуклонного юридического наступления на остатки крестьянских прав.

Как уже упоминалось ранее, при самом в осуществии на престол Елизавета отняла у помещичьих крестьян право присягать монарху. Вряд ли для самих крестьян лично этот указ имел большое значение и они могли вполне оценить его последствия; но он очень важен для понимания настроения правительства — государственная власть сознательно и целенаправленно стремилась лишить закрепощенных людей любых признаков гражданственности. Дальнейшие меры правительства вполне подтверждают такой вывод.

Еще в 1736 году помещики получают официальное право самостоятельно определять способ и меру наказания своим крепостным. В 1747 году издается важный указ, по сути отменявший запрет Уложения от 1649 года на продажу крещеных людей. Указ Елизаветы позволял господам продавать крестьян или дворовых в рекрутты. Дворянство, с молчаливого поощрения власти, восприняло этот закон как разрешение на безземельную торговлю крепостными людьми вообще. Теперь крестьянин вполне превращался в товар, его можно было отчуждать не только от возделываемой им земли, но и разделять с семьей. Крепостными стали торговать по отдельности, на рынках, разлучая родителей с детьми. Это сомнительное господское право, получившее широкое распространение, после некоторых колебаний правительства было окончательно утверждено в 1792 году. Торговля людьми, в том числе через объявления в газете, продолжалась в России вплоть до отмены крепостного права в 1861 году.

В том же 1736 году правительство обрекло на крепостное рабство множество прежде свободных людей. Указом императрицы Анны все вольнонаемные рабочие, находившиеся на фабриках и заводах, отныне становились навечно прикрепленными к ним вместе со своими семьями.

В конце своего правления Елизавета разрешила помещикам произвольно, «за предерзостные поступки», ссылать крестьян на поселение в Сибирь, с получением за них из казны денег или рекрутских квитанций, которые господа также с успехом продавали впоследствии. Это было очень выгодное право, и многие душевладельцы не стесняясь пользовались им, зарабатывая на своих рабах, отправляя в ссылку негодных к работам и больных, и не только получая за них деньги, но и сохраняя для своего хозяйства крепких крестьян, используя полученные рекрутские квитанции.

Императрица Екатерина Вторая расширила полномочия дворян, дав им право не только ссылать своих крепостных, но и прямо отправлять их в каторжные работы, с сохранением для помещиков тех же денежных выплат и выгод.

В 1767 году эта законотворческая деятельность правительства завершилась строжайшим указом, запрещавшим крестьянам подавать жалобы на своих господ на «высочайшее» имя. Новый закон грозил за такую дерзость телесным наказанием. Причем на усмотрение помещиков предоставлялось: взять ли после порки этих жалобщиков обратно к себе в усадьбу, или отправить на каторгу в Нерчинские рудники с получением за них вознаграждения.

Указ был вызван участившимися случаями жалоб крепостных крестьян. Тревожнее всего для правительства стало появление настойчивых толков о том, что скоро крепостную зависимость должны отменить вовсе и дать народу «волю». Доведенные нередко до отчаяния и полного разорения насилием помещиков, крестьяне верили этим слухам и активнее сопротивлялись притеснениям господ.

Важно, что и во время восстаний против помещичьей власти крестьяне демонстрировали высокую степень гражданской сознательности и собственного достоинства. Уверенные в своем праве на отстаивание личной свободы и хозяйственной самостоятельности, они старались избегать насилия и просто отказывались выходить на господские работы, в наивной уверенности, что носитель высшей власти встанет на их сторону и защитит справедливость. Являвшимся на место «бунта» чиновникам и командирам карательных команд они спокойно заявляли, что против правительства не бунтуют, а ждут из столицы «указ о воле».

Екатерина распорядилась всемерно растолковывать помещичьим крестьянам, что правительство никаких намерений об улучшении их положения не имеет, и изменений в их рабской участи не предвидится: «но имели бы к помещикам своим должное повинование и беспрекословное во всем послушание, как о том издревле от самодержавных предков е. и. в. узаконено, без всякой отмены... А буде и по обнародовании сего е. и. в. указа которые люди и крестьяне в должном у помещиков своих послушании не останутся и в противность вышеприведенного недозволенные на помещиков свои челобитные, а наипаче е. и. в. в собственные руки подавать отважатся, то как челобитчики, так и сочинители сих челобитен наказаны будут кнутом и прямо сошлются в вечную работу в Нерчинск, с зачетом их помещикам в рекруты».

К сожалению, большинство российских историков в этом трагическом споре народа и власти — принимали издавна и принимают до сих пор сторону правительства, оправдывая разными способами преступное подавление личной и экономической независимости русских людей, произошедшее в России периода империи. Оправдания звучат разные. Например, С.М. Соловьев писал, что по малочисленности населения «на огромных пространствах в России

нельзя было пробоваться вольнонаемным трудом»{120}. А современный исследователь Б.Н. Миронов вовсе заявляет, что «крепостничество... являлось органичной и необходимой составляющей российской действительности... Оно являлось оборотной стороной широты русской натуры... результатом слабого развития индивидуализма»{121}.

Подобные заявления, особенно последнее, основаны на принципиально неверном понимании истории происхождения крепостного права в России, обстоятельствах и причинах его возникновения и развития, а также на ошибочном представлении о характере народа. Даже если условно принять весьма спорные утверждения, лежащие в корне приведенных выше точек зрения, вряд ли можно согласиться с тем, что большая площадь страны или задатки колlettivизма в народе могут служить оправданием для его порабощения.

Объективный анализ истории происхождения крепостного права свидетельствует, что в том виде, каким оно предстает с начала XVIII века и до самой его отмены — во второй половине XIX столетия, — оно являлось не чем иным, как социальным произволом власти. Его настоящие причины лежали не в экономических нуждах государства, которым крепостнические порядки прямо противоречили, а в личных интересах правителей империи, часто случайных узурпаторов на троне, и окружающей их дворянской бюрократии. Крепостное рабство стало преступной взяткой, которой правительство покупало дворянскую поддержку и лояльность.

В.О. Ключевский признавал, что с установлением крепостного права российское государство «вступило на путь, который... вел его к расстройству народных сил, сопровождавшемуся общим понижением народной жизни, а от времени до времени и глубокими потрясениями»{122}. Из двухвековой эпохи крепостного права Россия вышла разоренной страной, с тяжелыми социальными и духовными недугами, непреодолимым взаимным отчуждением народа и власти. Все это было результатом бездарности и трусости правительства, заискивавшего перед дворянством и неумевшего предложить стране достойный вариант национального развития.

Кроме того, неверно говорить о «крепостном праве», как о едином явлении, возникшем якобы в XVI—XVII веках и в позднейшее время только получившем дальнейшее развитие, сопровождавшееся рядом особенно негативных черт. Тем не менее эта ошибка, вольно или нет, но часто совершаются авторами, пишущими о крепостничестве.

Постепенное прикрепление крестьян к земле, которое действительно заметно с начала XVII столетия, а также некоторое наступление на их гражданские права не имеют ничего общего с тем личным рабством своим помещикам, в котором оказались русские крестьяне в Российской империи. Если поземельное прикрепление в своей основе и могло иметь некоторые причины, вызванные временной государственной необходимостью, что само по себе весьма спорно, то в XVIII веке произошел настоящий социальный переворот. Правительство, под видом прежних поземельных обязательств крестьян и под прежним названием, создало совершенно новый вид личной зависимости.

Этому перевороту сильно способствовало Уложение царя Алексея, в котором крестьяне значительно урезаны в правах распоряжения собственностью, а размеры их повинностей помещикам не определены четко — что отчасти облегчило дальнейшее злоупотребление помещичьей властью. Как отмечал Ключевский: «В пределах поземельных отношений, и только поземельных... в крепостном владении со времен Уложения являются не хозяева и сельские рабочие как юридические стороны, а поработители и порабощенные, повинные платить произвольно налагаемую контрибуцию господам и их вождям, составлявшим правительство»{123}.

Политика правительства в восемнадцатом столетии привела к тому, что крепостные оказались порабощенными уже не только в «пределах поземельных отношений», а

полностью. В собственность помещика перешел не только труд, но и сама личность крестьянина вместе с его семьей.

От исследователей, утверждающих об исключительности и «органичности» рабства русского крестьянина, ускользает эта принципиальная разница в изменении его положения, произошедшая в XVIII веке, по сравнению с более ранним периодом. Возможно, их вводят в заблуждение существование в дореформенной России института холопства, которое они ошибочно смешивают и с рабством, и с крепостным состоянием.

Изначально на Руси холопство было формой личной зависимости от господина, в то время как крестьянин был лично свободным государственным тяглецом на государственной земле, которая временно могла быть пожалована в поместье тому или иному служилому человеку. При этом пожаловании крестьянин не терял личной свободы, но часть своего труда должен был отдавать в пользу помещика в качестве дополнительного государственного тягла. Холоп же, лично зависимый от господина, не нес перед государством никаких обязанностей. Именно этим обстоятельством и были вызваны постоянные попытки государственной власти ограничить возможности поступления в холопство, потому что увеличение числа господских холопов неизбежно вело к уменьшению государственных тяглецов.

Постепенное наступление законодательства на личную свободу крестьянина еще во второй половине XVII века привело к постепенному сближению положения крестьян и холопов. Окончательному смешению этих прежде разных социальных групп способствовала налоговая реформа Петра Первого. Введение им подушной подати, которой облагалось все тяглое мужское население империи, стерло прежнюю формальную разницу между холопом и крестьянином, а господский произвол довершил слияние этих понятий.

По словам Ключевского, «с тех пор не стало ни холопов, ни крепостных крестьян, а оба эти состояния заменились одним состоянием — «крепостных людей», или «душ»{124}.

Но и представление о бесправности холопа в Московском государстве — ошибочно. Настоящим рабом в полном смысле этого слова, двуногой «вещью» холоп, как и крестьянин, стал только в Российской империи. В дореформенной России его личность и жизнь были защищены и законодательством, и обычаем. Издавна холопство имело несколько способов или путей для пополнения своей численности. Из них принудительными были только — плен на войне и потеря свободы за долги, причем оба к XVII веку значительно уступали по своему значению другим способам. Основным источником новых холопов было добровольное решение лично свободных людей взять на себя кабалу — поступить на службу к тому или иному господину.

Находилось немало тех, кто предпочитал уклониться от государственных повинностей, заслониться от государства спиной могучего покровителя. При поступлении в холопство, как правило, будущему слуге выплачивались деньги, которые и были основанием и условием его зависимости. Он получал свободу после того, как отрабатывал полученные средства, иногда с небольшими процентами. Все это время господин был обязан кормить и обеспечивать жильем и одеждой как самого холопа, так и его семью.

Виды холопства были разнообразны: кабальное или «старинное» — наследственное, отличались сроком действия службы и ее особенностями. Холопы составляли господскую дворню, работали на земле владельца или занимались ремеслом — в зависимости от своих способностей и условий, на которых они продавали свою свободу. Были и так называемые «боевые» холопы — сопровождавшие господина на войну или охранявшие его усадьбу. В их рядах часто оказывались небогатые дворяне, которые не хотели или не имели материальной возможности нести службу государству, не желавшему входить в их затруднения, и переходили под защиту богатого боярина, где получали и деньги, а нередко и небольшие поместья.

Закон обязывал господина заботиться о нравственности слуг и не допускать разврата — он должен был следить за тем, чтобы все его совершеннолетние дворовые люди состояли в браке. Если в хозяйстве находились необвенчанные слуги — любые их обязательства перед хозяином считались недействительными, и они получали свободу.

Но и сами господа, по устоявшемуся обычаю, при своей смерти нередко отпускали холопов на волю, даже тех, кто не исполнил до конца кабальных обязательств и оставался должником хозяина, давая им не только свободу, но и наделяя деньгами[32]. По отношению к остававшимся слугам, как правило, давались специальные наставления наследникам: обращаться с холопами милостиво и спустя определенный срок отпустить со двора, не требуя никаких плат — «и денег на них не правити».

Господин был не властен убить или покалечить холопа — это считалось уголовным преступлением. Закон признавал неделимость семьи холопа — ее членов нельзя было разлучать по воле хозяина. Не допускалось сексуальное насилие над «робой»[33]. Если это все же происходило и было доказано, хозяин, как бы он ни был знатен, подлежал публичному наказанию кнутом на городской площади. Такие казни случались — очевидно, соблазн воспользоваться властью над зависимыми женщинами все же оказывался для кого-то слишком сильным. Но кара в большинстве случаев была неизбежной. В качестве примера может служить фрагмент из дневниковых записей современника, окольничего И. Желябужского, относящихся ко второй половине XVII века. Речь в них идет о дворянах знатных московских фамилий: «В том же году (1684) учинено наказанье Петру Васильеву сыну Кикину: бит кнутом перед Стрелецким приказом за то, что он девку растлил... Степану Коробынину учинено наказанье: бит кнутом за то, что девку растлил».

Иностранный резидент при московском дворе, Яков Рейтенфельс, сообщает герцогу тосканскому о строгости русских обычая: «Покойная царица[34] приказала всенародно наказать одного боярина знаменитым ужасным кнутом за то, что он изнасиловал сенную девушку». В случае, если у приневоленной к сожительству «робы» оказывались незаконнорожденные от господина дети, закон обязывал немедленно освободить ее и детей и дать им на содержание необходимые средства за счет бывшего хозяина.

Все это не значит, что в Московском государстве не было несправедливого превышения власти, господского насилия и прочих преступлений, остававшихся безнаказанными. Случалось всякое. Важно, что закон не только декларировал ограничение власти господина над своими слугами, но и на деле пресекал несправедливость и насилие.

Однако все же и самих преступлений подобного рода было в России немного в сравнении со следующим, «просвещенным» столетием. В известных крестьянских членобитных на царское имя до самого конца XVII века практически не встречается жалоб на жестокости со стороны помещика или, тем более, на сексуальное насилие над крепостными женщинами. Они посвящены исключительно бытовым, хозяйственным проблемам. Членобитные XVIII века, наоборот, в большинстве случаев представляют собой бесконечный вопль к правительству о помощи против свирепых и развратных господ. Помощи, которая, конечно, никогда не приходила. Вместо нее являлись карательные команды, поровши самих крестьян, рвавшие им ноздри и отправлявшие на каторгу в Сибирь.

Не столько строгий закон, сколько взгляд самих господ на своих подневольных людей делали в дореформенной России насилие и жестокости по отношению к слугам редким исключением. В крестьянах и в холопах их владельцы и само правительство видели прежде всего людей, православных христиан, своих единоверцев, с которыми их объединяла и кровь, и вера, и традиции, и национальные обычаи, одежда и язык, одинаковые бытовые привычки и мировоззрение. Все это оказывалось сильнее сословных и имущественных различий. Здесь примечательно народное негодование на известие о том, что Петр задумал женить сына на немецкой принцессе. По словам очевидца, «народ русский никак не хочет этого супружества,

видя, что не будет более входить в кровный союз со своим государем». Сам Алексей разделял общую тревогу и был крайне недоволен этим решением отца. Известно, что царевич настаивал на том, чтобы взять жену из русского народа, но Петр, бредивший онемечиванием, навязал свою волю.

Наконец, христианское сознание, воспитанная с детства искренняя боязнь греха сдерживали проявления дурных характеров и наклонностей. Невозможно не обратить внимания на очевидную связь «обмирщения» дворянского воспитания, секуляризацию культуры и резкое усиление крепостнической эксплуатации.

Новые душевладельцы, воспитанные не только в светском духе, без «страха Божия», но и на явном подражании иноземной культуре и одновременном презрении ко всему национальному, перестали различать в русских крестьянах человеческий облик. Они видели в них теперь только двуногий скот, обязанный отдавать свою кровь и жизнь ради благополучия «благородных» господ. Правительство, само фактически переставшее быть русским и по крови и по духу, всячески поощряло подобный взгляд. Случайным заместителям российского трона, полунезаконнорожденным, полуавантюристам, присвоившим себе фамилию «Романовых», было выгодно как можно глубже провести духовный и социальный раскол между высшим сословием и большинством народа. В этом разделении был залог преданности дворянства, превратившегося в полицейский охранный корпус режима.

Отношение к крепостным людям, как к животным, утверждается уже в правление Петра Первого. В проекте нового Уложения 1720—1725 годов законодатели предусматривают случай, если крестьянка, проданная другому помещику, будет в момент продажи беременна: «с собою принесет в утробе». Спрашивалось — кому должен принадлежать «приплод» — прежнему или новому хозяину? Решили так: если крепостная женщина принесла ребенка «во чреве», то его после рождения, в случае чelobитья прежнего владельца крестьянки, отдавать назад. В случае нежелания забирать «натурой» помещик имел право получить по 30 рублей за каждую детскую «душу»{125}. Авторы Уложения рассуждают о новорожденном младенце так, как будто речь идет о щенке или теленке. У его матери нет совершенно никаких прав на своего ребенка, потому что она сама и ее «приплод» — просто одушевленная собственность помещика.

Положение русского народа в империи, созданной Петром и его преемниками, было столь унизительным и бесправным, что никакой внешний завоеватель не смог бы сделать его более тягостным.

В главе «О власти дворянской» в проекте Уложения дочери Петра, императрицы Елизаветы, заявлено грозно и определенно: «Дворянство имеет над людьми и крестьянами своими мужеского и женского полу и над имением их полную власть без изъятия... И для того волен всякий дворянин тех своих людей и крестьян продавать и закладывать, в приданые и рекруты отдавать и во всякие крепости укреплять... мужескому полу жениться, а женскому полу замуж идти позволять и, по изволению своему, во услужение, работы и посылки употреблять и всякия... наказания чинить или для наказания в судебные правительства представлять...»

Факт оккупации страны и полного порабощения народа был подтвержден при Екатерине Второй. В изданной в конце правления этой императрицы «Жалованной грамоте» дворянству о крепостных людях уже попросту не упоминалось. Там говорится лишь следующее: «Благородным подтверждается право покупать деревни. Благородным подтверждается право продавать, что у них в деревнях родится или рукоделием производится...» Во взгляде правительства и господ русские крестьяне окончательно затерялись среди движимого имущества помещичьей усадьбы, где-то между овцами, коровами и лошадьми[35].

К.С. Аксаков писал о положении в империи: «Образовалось иго государства над землею, и русская земля стала как бы завоеванной... русский монарх получил значение деспота, а

народ — значение раба-невольника в своей земле»{126}.

Это приговор целой эпохи в истории России. Он подтверждается таким обилием доказательств, свидетельств современников и страшных фактов, что, собранные вместе, они составили бы многие тома только перечня уголовных преступлений помещиков над своими крепостными людьми. Сама императрица Екатерина Вторая, раздавшая в частную собственность дворян полтора миллиона человеческих «душ», отмечала при этом в собственоручных записках, что в ее государстве нет ни одного господского дома, «в котором не было бы железных ошейников, цепей и разных других инструментов для пытки».

Бытовая фактическая сторона двухвекового крепостного рабства отвратительна и по-настоящему, почти неправдоподобно, ужасна[36]. Но, несмотря на всю свою неприглядность, это рабство было не только социальным злом, но в первую очередь проявлением тяжелой духовной болезни. Ампутация исторических корней, забвение религиозных основ национальной культуры, презрение к народным традициям и обычаям, одновременно поверхностное и неудачное подражание культуре иноземной — заразили высшее сословие, привели к его полной нравственной деградации, ставшей очевидной к концу эпохи крепостного права и проявившейся в моральном разложении и хозяйственной несостоятельности дворянства.

Главный вред крепостных порядков для страны, как страшны они ни были, состоял не в жестокостях, а также бесчисленности и бессмыслицы потребованных от народа жертв, неоправданных никакими объективными, в том числе экономическими, причинами. Наибольшая опасность заключалась в неуклонном распространении дерусификации и дехристианизации, которыми зараженное высшее сословие заражало все общество, весь русский православный мир.

## ГЛАВА 3

Преобразования начала восемнадцатого столетия, разрушив все традиционные основы русского общества, имели катастрофические последствия и для судьбы православной церкви. Вмешательство Петра Первого в корне изменило внутреннюю церковную организацию, принципы ее взаимоотношений с государственной властью, проникло в богослужебные тексты, отразилось на составе черного и белого духовенства, изменило социальное положение служителей. Перемены во всех областях носили столь значительный характер, что привели фактически к возникновению на месте прежней православной церкви совершенно новой структуры, получившей даже новое название, и ее полному разрыву со всей старой церковной традицией.

В первую очередь это выразилось в полной утрате всяких признаков самостоятельности и безоговорочном подчинении духовной иерархии светской императорской власти. Определенная зависимость церкви от государственной власти существовала в России издавна, особенно усилившись, как уже упоминалось, с XV века, со времени Флорентийской унии, когда после разрыва с Византией и выхода из-под юрисдикции впавшего в ересь константинопольского вселенского патриарха русские епископы, сохранив каноническую чистоту православного учения, объективно оказались вынуждены встать под опеку московских великих князей. Исследователи нередко указывают на это обстоятельство, как на доказательство «извечного» подчинения церкви государству, не видя особенной разницы в ее взаимоотношениях с правительством до и после реформ Петра. В данной точке зрения заключено серьезное заблуждение, вызванное недостаточным пониманием той

трансформации, которой подверглась в результате реформ сама светская власть.

Московский великий князь, а потом и царь периода XV, XVI и XVII веков был в глазах своего народа и в собственном представлении прежде всего хранителем и защитником православия, гарантом его неприкосновенности от всевозможных внешних или внутренних покушений. В этой вероохранительной роли русский государь естественным образом выступал и как попечитель о нуждах и заботах самой церкви. Духовные иерархи не противились этой опеке, но наоборот — воспринимали ее как должное, и даже приветствовали ее, потому что она никогда не посягала на канонические основы вероучения, но предоставляла практическую помощь в решении насущных проблем.

Прежде церковь входила в союз с государственной властью, смыслом существования которой была борьба с грехом, а общественным идеалом — монастырь. Московский великий князь и царь своим образом жизни и привычками напоминал скорее не светского правителя, а настоятеля монашеской обители. Теперь, с возникновением нового государства, характер власти принципиально переменился. Дух христианской аскезы сменился погоней за роскошью и сластолюбием, удовлетворением мирских страстей.

Религия превратилась из основы и смысла жизни в технический инструмент, стала способом идеологического влияния на «массы». Свое возросшее могущество правительство обращало теперь не на защиту христианской веры, а на обеспечение собственных нужд, а также потребностей многочисленных временщиков и фаворитов, кормящихся у трона. И делало это за счет эксплуатации порабощенного народа. Прежде в союзе с государством церковь служила интересам православия, а теперь такой союз был направлен исключительно на обслуживание самого режима.

Еще преподобный Иосиф Волоцкий, предвидя возможные отступления монарха с пути благочестия, которые не раз случались в мировой христианской истории, предложил, в строгом соответствии с православными канонами и писаниями святых отцов, способ защиты церкви от возможных покушений на ее духовную независимость со стороны государства. Он учил, что подчинение правителю необходимо, но при условии его православности и только в том, что относится к компетенции светской власти. Преподобный писал в книге «Просветитель»: «Если же некий царь царствует над людьми, но над ним самим царствуют скверные страсти и грехи: сребролюбие и гнев, лукавство и неправда, гордость и ярость, злее же всего — неверие и хула, — такой царь не Божий слуга, но дьяволов, и не царь, но мучитель. Такого царя, за его лукавство, Господь наш Иисус Христос называет не царем, а лисицей: “Пойдите, — говорит Он, — скажите этой лисице”. (Лк. 13: 32.). И пророк говорит: “Царь надменный погибнет, потому что пути его темпы”. (Ср.: Иез. 28: 17 — 19; Дан. 5: 20.). И три отрока не только не покорились повелению царя Навуходоносора, но и назвали его врагом беззаконным, ненавистным отступником и царем злейшим на всей земле (Дан. 3:32.). И ты не слушай царя или князя, склоняющего тебя к нечестию или лукавству, даже если он будет мучить тебя или угрожать смертью. Этому учат нас пророки, апостолы и все мученики, убиенные нечестивыми царями, но не покорившиеся их повелению»{127}.

Когда светская власть в России в начале восемнадцатого столетия действительно продемонстрировала признаки отступничества от благочестия, и в ее поведении и облике проявились явные, с точки зрения канонического православия, черты «нечестия и лукавства», иерархи русской церкви не только не повторили подвига пророков, убитых нечестивыми царями, но ни единным словом или поступком не выразили несогласия с действиями правительства.

Причина этого заключается в том ослабленном состоянии, в каком церковь вступила в новый век, ее моральные и человеческие потери были очень велики. Реформа патриарха Никона и царя Алексея привела к исходу из «господствующей» церкви, как ее стали называть, множества православных христиан, наиболее ревностно относившихся к вере и не

принявших сомнительных нововведений. Оставшиеся в ограде «официального» православия, по общим наблюдениям современников и признаниям самих архиереев, представляли собой в большинстве случаев людей равнодушных, духовно пассивных. Причем и в этой среде в определенные моменты появлялось достаточное число тех, кто переходил «в раскол», хотя и по причинам, не всегда прямо связанным с религиозными вопросами.

Но определяющим фактором во всем дальнейшем фактическом порабощении церкви секуляризованным государством стала позиция духовных иерархов в ходе никоновских преобразований. Ее трагизм заключался не просто в готовности без критики и рассуждений принять новый обряд. В.О. Ключевский писал о настоящем характере действий епископата: «Русская иерархия XVII века предала полному осуждению русскую церковную старину»{128}. Введение в русский церковный устав греческих новин, соборное проклятие всей прежней церковной традиции, появление ни во что национального духовного опыта, насчитывавшего почти семь столетий христанской жизни, уменьшение авторитета русских святых и духовных учителей лишили реформированную церковь всякой опоры в прошлом, обрушили все связи с ним[37].

Подчинившись власти в деле церковной реформы, иерархия отныне была вынуждена всюду и во всем следовать за этой властью, держаться за руку власти, уже не слишком разбирая, хороша она или дурна, православна или порочна и еретична. Кроме правительства и его карательного аппарата не было больше у «господствующей» церкви никакой опоры ни в уважении народа, ни в многовековой истории русского православия, от которой она отреклась.

Старообрядцы смотрели на священников и епископов-«никония», как на еретиков из-за измены их древлеправославию, не делая разницы между ними и «папистами» или «люторами». Но не менее жестко священнослужители официальной церкви были разделены и с собственными прихожанами. Сильно способствовало воспитанию неприязненных чувств к официальной церкви то, что она не только всеми силами встала на защиту социальной несправедливости и крепостного права, но и сама активно использовала рабский труд. Черное духовенство, епископы и монастыри были крупными крепостниками, в их совместном владении находилось около двух миллионов крепостных «душ». Крестьяне убежденно говорили: «Монастырская неволя пуще господской». Монахи нередко использовали их вместо лошадей, которых берегли, — на людях и воду возили, и пахали...

Из дома для молитвы приходские храмы стали превращаться в официальную трибуну, с которой по воскресным дням, вместо проповеди, читали все новые репрессивные указы правительства — о том, что крестьянам запрещено владеть собственностью, что их самих можно продавать и разлучать с близкими, ссылать в Сибирь на каторгу по первому неудовольствию помещика и т.д. Крестьян учили покорности и смирению. И все это делалось с лукаво искаженными ссылками на тексты Священного Писания. Именем Бога лживо и кощунственно оправдывалось рабство и насилие.

Священнослужители были обязаны доносить о всяких признаках недовольства среди прихожан, о враждебных высказываниях в адрес правительства. Вопреки канонам, священников обязали нарушать тайну исповеди и сообщать об услышанных на ней противоправительственных умышлениях или преступлениях против власти. По замечанию историка С. Князькова, «священник стал выступать как подведомственный светской власти чиновник: он действует в таких случаях как один из полицейских органов государства, вместе с фискалами, сыщиками и дозорщиками Преображенского приказа и тайной канцелярии... в этой новой приказной обязанности священника мало-помалу затемнялся духовный характер его пастырской деятельности, и между ним и прихожанами создавалась более или менее холодная и крепкая стенка взаимного отчуждения»{129}.

Не только непривлекательным, но и тяжелым было положение низших слоев духовенства, как

белого, так и черного. Петр Первый регламентировал численность приходских священников, сильно уменьшив ее. Указ 1722 года гласил, что на 800 дворов довольно иметь не более трех попов «и при толиких попах больше двух дьяконов не было б, а причетникам быть по препорции попов, т.е. при каждом попе один дьячок и один пономарь».

Оказавшихся «липшими», вне штата, священников, а также их младших сыновей, детей дьяконов и причетников, которым не находилось места при отцах, бродячих попов и многих других, записывали в крепостные крестьяне или забирали в матросы и солдаты, отправляли на каторжные петровские стройки.

Оставшиеся попы попали в полную зависимость как от своего непосредственного начальства — епископов и благочинных, так и от местных помещиков, на земле которых находились храмы. Общее пренебрежение личностью, огрубление и варваризация нравов, произошедшие с начала петровских реформ, вполне коснулись и духовенства. Епископы не ставили приходских священников ни во что, в случае недовольства брали «поносными словами» прямо в церкви, сажали на цепь или в колодки. Дворяне тем более не церемонились с ними — неугодного попа могли выпороть, затравить собаками, разрушить дом.

Серьезно упал общий уровень культуры и простой грамотности черного и белого духовенства. В монастыри устремилась масса случайных людей, искающих там не молитвенного уединения, а спасения от вездесущего государства, от войны и разрухи, от голода наконец. Чрезвычайно распространилось пьянство. Ростовский владыка прямо писал Петру, что в монастырях его епархии «чернецы спились и заворовались». В настоятели приходов попадали часто за взятки, данные епископам или их приближенным. Никто не проверял пригодности того или иного кандидата к исполнению обязанностей священника, брали тех, кто больше заплатил. В результате церковные службы велись с ошибками, подчас грубыми, искавались священные тексты и обряды, что вносило смущение в ряды верующих и отталкивало многих от официальной церкви.

Со временем наиболее явные следы одичания исчезли или смягчились, но остались приниженное положение священников перед епархиальным начальством, их малая грамотность и, что самое главное, отгороженность от прихожан, которые по-прежнему смотрели на попов, как на помощников полицейского пристава. Сами священники, в свою очередь, всячески стремились не преодолеть этот разрыв, а наоборот, улучшить и облагородить свое положение, сделать его более привилегированным.

В пору подготовки нового Уложения при Екатерине Второй со стороны духовенства поступили предложения и просьбы «утвердить иерархию духовных чинов наподобие иерархии военной, в которой архиепископ приравнивался к генерал-аншефу, епископ — к генерал-поручику, настоятель монастыря — к генерал-майору, священник — к поручику, дьякон и монах — к прапорщику... Поскольку любой офицерский чин давал потомственное дворянство, духовенство претендовало на дворянство для монахов и священнослужителей»{130}.

Можно предположить, что эта инициатива была попыткой со стороны церкви компенсировать потери, понесенные в результате секуляризации 1764 года, когда из церковной собственности были изъяты населенные крепостными крестьянами земли. Поскольку дворянское звание давало вожделенное право на владение крепостными «душами», русское духовенство стремилось получить его хотя бы таким необычным для себя способом, как через присвоение военных чинов.

Поведение и образ жизни высших иерархов церкви служил к соблазну верующих не меньше, чем состояние и привычки низшего духовенства. Петру очень быстро удалось втянуть руководство церкви в свой ближний круг, сделать их как бы сообщниками своего правления и всех его безобразий. Правда, для этого ему сначала пришлось провести некоторые кадровые замены.

После смерти патриарха Адриана в октябре 1700 года Петр назначил местоблюстителем патриаршего престола малороссийского выходца Стефана Яворского. Этот человек был, конечно, весьма далек от традиционного русского благочестия. Он прошел обучение в католических школах Польши, для чего принял унию. Потом он вернулся в православие, но, подобно всем своим соотечественникам, учившимся в иезуитских школах, навсегда остался внутренним поклонником западного богословия и религиозной традиции. Культура латинского запада была ему значительно ближе культуры и духовности православного востока, и прежде всего, конечно, ортодоксальной религиозности России, где, волею судьбы и Петра, ему пришлось возглавить православную церковь.

Яворский временами тяготился своей должностью, но его положение облегчалось тем, что Петр позаботился о максимальном уменьшении его полномочий как местоблюстителя патриаршего престола. Из его ведения были изъяты все административные функции по управлению хозяйственной жизнью церкви и переданы Монастырскому приказу под руководством светских чиновников. Местоблюститель превратился во многом в символическую фигуру, не имевшую никакого влияния на дела церкви. Даже о назначении епископов и архимандритов Яворский нередко узнавал от других лиц. Все церковные дела Петр крепко взял в свои руки и решал их лично или через доверенных людей. В 1702 году Шереметев, минуя местоблюстителя патриаршего престола, прямо обращается к Петру с вопросом о том, кого назначить архимандритом псковского Печерского монастыря. В 1707 году Петр, игнорируя Яворского, поручает И. Мусину-Пушкину подыскать кандидата на место холмогорского владыки вместо умершего Афанасия. Подобных примеров было немало.

В то время пока уязвленный и обиженный Яворский сидел в Москве и находил утешение то в литературных сочинениях, то в пространных жалобах Петру, среди иерархов появилось несколько ярких личностей, символизировавших собой новое лицо церкви.

Будущий преемник Яворского, Феодосий Яновский, постоянный собутыльник императора, участник «всесштейшего собора». Князь Долгоруков писал о нем: «Низость и порочность поведения помогли ему получить чин архиепископа[38] новгородского и президента Синода. Он обирал церкви в своей епархии, похитил бриллианты, украшившие оклады икон и архиерейское облачение»{131}. Бывший покровитель Яновского, новгородский митрополит Иов, не сдерживая эмоций писал ему: «Спроси меня о себе, кто ты? Я тебе скажу: ты груб, невоспитан, грубиян, ты дикий кабан, похож на свирепого зверя, подражаешь верблюду гневливому...» По общему свидетельству знавших его, Яновский был человеком крайне низких моральных качеств. Но именно такой и мог чувствовать себя комфортно рядом с Петром.

Если Яворского считали тайным католиком, то Яновского именовали лютеранином, зная о его явных протестантских пристрастиях. «Люди старого закала певали в лицо Феодосию стих... “враг креста Христова”, и говорили, что этот стих всего приличнее будет петь при посвящении его в архиереи»{132}.

В таком положении оказалась русская церковь, что вскоре после реформ в новогреческом стиле в ее руководство попали иерархи, отличавшиеся друг от друга тем, что один из них симпатизировал католическому учению и богословию, а другой — протестантскому, и оба почти совершенно не знали учения православного.

Подобные люди заняли все ступени церковной иерархии. Среди епископов и митрополитов, как и среди простого священства, «укоренилась сатанинская злоба безмерного хмельного упивания». Вид пьяного владыки или прилюдно курящего табачную трубку, подобно холмогорскому епископу Афанасию, раньше просто немыслимый, теперь стал привычным для православного архиерея.

Не последнее место среди высокопоставленных церковных пьяниц занимал духовник Петра,

Тимофеем Надаржинским. Это постоянный участник всех оргий и попоек, которые происходили при дворе, в походах и поездках заграницу. В Париже ему пришлось вступить в поединок с известным французским пьяницей-аббатом, секретарем кардинала. Петр, услыхав про способности аббата к питью, загорелся идеей устроить хмельное соревнование. Он сказал: «Надобно его спустить с Надаржинским» — и приказал пригласить француза на ужин. Духовный отец императора не подвел: «Было выпито очень много, и аббат свалился под стол, в то время как Надаржинский, весь красный и едва держась на ногах, но сияющий радостью, налил себе еще стаканчик. Петр бросился на шею Надаржинскому и закричал: «Друг мой, ты поддержал честь России!»{133} Эти и подобные подвиги не были оставлены без вознаграждения. Петр пожаловал Надаржинскому несколько богатых поместий и множество крепостных «душ».

Изменению нравов в русской церковной среде в немалой степени способствовала перемена в составе духовенства. Еще с первой половины XVII века в Россию приезжает много священников и монахов из Малороссии и западнорусских земель в составе Речи Посполитой. Об особенностях образования, мировоззрения и богословских пристрастиях этих людей, большинство из которых или обучались в иезуитских школах, или испытывали на себе не менее сильное протестантское влияние, уже говорилось ранее. Со второй половины века, после реформы царя Алексея и Никона, этот наплыв усилился, особенно из Малороссии.

В условиях, когда само русское правительство вставало во все более враждебные отношения к русской старой церковной, а потом и национальной традиции, что в царствование Петра выразилось уже в открытой политике истребления русского традиционализма, эти зарубежные выходцы оказывались необходимыми и естественными союзниками власти.

С поощрения правительства они становятся учителями и богословами, занимают архиерейские должности, повсюду вытесняя великороссов. Некоторые монастыри почти целиком наполнялись украинскими монахами, вопреки пословице приносившими с собой и свой устав, что заставляло русских иноков в знак протesta уходить прочь. К концу XVII века даже в таком важном монастыре, как московский Новодевичий, большинство монахинь были малороссиянками.

Негативные последствия такого наплыва состояли в том, что под его воздействием разрушались основы русской духовной традиции. Вновь пришедшие приносили с собой свою церковную культуру, свои обычаи. Русская Богослужебная практика, древняя история русской церкви была им неизвестна и чужда, многие из выходцев даже не владели русским языком. Тем более равнодушны они были к проблемам недавней церковной реформы.

Если русские епископы все же понимали корни раскола и некоторые про себя сочувствовали старообрядческой оппозиции, старались не слишком преследовать ее сторонников, то архиереи-малороссы не разбирались и не имели желания разбираться в церковной смуте чужой для себя страны. Они искренне смотрели на старообрядцев, как на государственных мятежников и еретиков, и были активными помощниками правительства не только в репрессиях и преследованиях староверов, но искореняли, где это было возможно, любые следы древлеправославной традиции, вводя на се место устав и обычай киевской церкви, проникнутой сильным иноверческим влиянием протестантизма, католичества и униатства. Под запретом или подозрением оказалось все, что относилось к русской православной культуре — старинные книги, обряды, одеяния священников. Более того, серьезные перемены были внесены и в церковное пение, и в иконопись. Агрессивно внедрялись заимствованные из западной практики особенности: паргесное многоголосное церковное пение, а также новые способы иконописания, напоминавшие светскую живопись, противоречившие канонам и совершиенно чуждые исконной православной традиции.

Петр был настоящим революционером и не останавливался на полумерах ни в чем. Взявшись однажды за дело государственного переворота, он последовательно осуществлял

его во всех направлениях и сферах социальной, политической и духовной жизни. Преобразование церковной структуры было для него одним из первостепенных.

Раньше цари, рассматривая свою власть как данную Богом для защиты веры и заботы о душевном спасении православно верующих, стремились всячески возвысить национальную церковь, укрепить ее авторитет внутри страны и вовне. Для этого добились ее автокефалии и утверждения за русским митрополитом сана патриарха, что привело к усилению влияния церкви и укреплению религиозных настроений. Петра такое положение дел не устраивало по нескольким причинам. Русская церковь даже после реформ середины XVII века представляла для него опасность, поскольку и в измененном и значительно ослабленном виде была олицетворением старых общественных отношений и приоритетов, символизировала собой торжество теоцентристического мировоззрения.

Кроме того, наличие сплоченной церковной организации во главе с патриархом, с самостоятельным внутренним устройством, независимыми источниками дохода, окруженной торжественным церемониалом, — вызывало у Петра тревогу если не за собственную власть, то за ее покой.

Свои опасения, заставившие его провести очередную реформу церкви и упразднить сан патриарха, Петр прямо и открыто изложил в тексте указа о создании Синода: «...простой народ не ведает, как разнствует власть духовная от самодержавной, но, удивляемый великой честью и славою высочайшего пастыря, помышляет, что таковой правитель есть второй государь, самодержцу равносильнейший или больший, и что духовный чин есть другое и лучшее государство. И если народ сам собою привык так думать, то что же будет, когда разговоры властолюбивых духовных подложат как бы хвоста в огонь? Простые сердца так развращаются этим мнением, что не столько смотрят на самодержца, сколько на верховного пастыря. И когда случится между ними распра, все сочувствуют больше духовному правителью, чем мирскому, за него дерзают бороться и бунтовать, и льстят себя тем, что борются за самого Бога и рук не оскверняют, но освящают, хотя бы шли и на пролитие крови»{134}.

Это очень любопытный текст. Исследователями он нередко представляется как доказательство страхов Петра перед покушением на свою власть со стороны «духовного чина». Но содержание документа не может не вызывать вопросов. В русской истории ни разу не возникала ситуация, так красочно обрисованная в указе — никогда не случалось народу «идти на пролитие крови» во главе с патриархом против светского правительства. Русская теократия дореформенной эпохи была основана на крепкой царской власти и духовном авторитете патриарха. Ни один «высочайший пастырь» и в мыслях не держал ополчиться на царя при помощи силы — это было практически невозможно и не имело бы опоры ни в историческом опыте страны, ни в сознании народа.

В начале восемнадцатого столетия кое-что изменилось. Может быть, Петр и вправду отчасти опасался, что при определенных обстоятельствах и появлении в ней сильной личности церковь сможет возглавить антиправительственное выступление и повести за собой народ, доведенный, как никогда раньше, до отчаяния разорительной политикой и недовольный самим духом преобразований в антирелигиозном секулярном духе. Но все-таки текст указа скорее рисует почти фантастическую картину, учитывая настоящее положение церкви, чем исходит из реальной возможности. Эта фантазия понадобилась Петру как лишнее обоснование произведенной реформы по уничтожению патриаршества и последних остатков авторитета и независимости церкви.

Не страх перед мифическим патриархом-узурпатором, а желание самому стать «духовным пастырем» или, по крайней мере, присвоить себе его функции и полномочия руководили Петром в проведении синодской реформы. Он говорил: «Богу изволившу исправлять мне гражданство и духовенство, я им обое — государь и патриарх». Но Петр вкладывал в эти

слова свой смысл. Он хотел не просто возглавить церковь, а в корне переделать ее изнутри, вывести из центра общественной жизни и поставить на службу создаваемому секулярному государству. С.П. Мельгунов метко охарактеризовал эту затею Петра как «переписку Божьего царства на государево имя»{135}.

Человеком, не просто довершившим разгром церковной старины, но создавшим законодательную и богословскую легитимную базу для этого разгрома, был еще один выходец из Малороссии, Феофан Прокопович. Он оставил глубокий след в отечественной истории, став основателем фактически новой церковной структуры в России.

В это время в Европе, пережившей ряд религиозных смут, кровопролитных войн и революций, повсеместно происходит возрождение сильной монархической власти или попытки к ее возрождению. Они имели разный успех, завершившись созданием абсолютизма, как во Франции, или потерпев поражение, как в Англии и Швеции. Но во всех случаях главной особенностью этих попыток было новое идеологическое обоснование монархической власти по сравнению с предыдущим периодом. Общее для европейских стран падение религиозности и вырождение христианского мировоззрения привело к созданию новых общественно-политических учений, призванных доказать право монархов на власть, поскольку прежние теократические объяснения теряли свою актуальность. И хотя Карл I незадолго до своей казни и посвятил в рыцари одного из самых ортодоксальных теоретиков «божественного права королей» — Роберта Филмера, производившего королевскую власть от патриархов ветхозаветных времен, врученную им непосредственно Богом, уже сын казненного, Карл II, а также правители других государств континента были вынуждены опираться на более современные теории.

В их основе лежала идея общественного договора с правителем, которому народом добровольно некогда была вручена абсолютная власть для сохранения порядка и защиты интересов граждан. Важно, что такое демократическое обоснование приводит тем не менее большинство авторов к утверждению необходимости почти деспотической власти правителя.

Феофан Прокопович, получивший превосходное образование в римской Униатской коллегии, знал в совершенстве все основные европейские общественно-политические теории и, выполняя волю Петра, взялся за применение их в России. Результатом его компилятивных усилий стало появление труда «Правда воли монаршей», в котором он доказывал право монарха на абсолютную власть и его абсолютную неподсудность любым земным юридическим нормам и установлениям, в том числе и тем, что созданы им самим. Одержаный рвением угодить Петру, Прокопович превзошел даже Гоббса, оставлявшего подданным право сопротивления монарху хотя бы при необходимости собственного самосохранения. Он не делает никаких оговорок, не предполагает никаких ситуаций, когда воля и власть правителя могла бы встретить законное противодействие.

Персона монарха заслоняет собой государство, и не просто олицетворяет его, но целиком и полностью вбирает в себя. Государь в представлении Прокоповича выше и человеческих законов, и церковных канонов. Правда, формальным руководством для монарха все же выступает «всенародная польза», но ее критерии никак не определены и оставлены на усмотрение самого правителя. Феофан утверждает: «Может монарх государь законно повелевати народу не только все, что к знатной пользе отечества своего потребно, но и все, что ему ни понравится, только бы народу не вредно и воле Божией не противно было».

Наряду со всеми остальными подданными абсолютная власть монарха распространяется и на духовенство, и на церковную организацию в целом. Она превращается в простое объединение лиц духовного чина, лишаясь своего мистического значения.

Но сам этот правитель, поставивший себя на место церкви, подчинивший себе общество, ставший его «верховным пастырем» и судьей, принципиально отличается от монарха

прежнего времени. Государь не просто узурпирует абсолютную власть, но меняет смысл и назначение своей власти — она больше не служит целям общего душевного спасения, а направлена на достижение задекларированного общего материального блага. По замечанию А.В. Карташева, такой монарх нового типа служит не Царству Божию, а «высшую цель своего служения имеет в царстве здешней, земной культуры»{136}.

В действительности это служение «всенародной пользе» и одновременная ориентированность на секулярные земные ценности привела к развитию грубой тирании и личного деспотизма. Судьба церкви в этих обстоятельствах была чрезвычайно трагичной. Благодаря реформам царя Алексея и последующим преобразованиям Петра, она оказалась на службе даже не у «государства», а в полной зависимости от случайных лиц, сумевших занять престол в результате придворных сvar, заговоров и интриг, была вынуждена обслуживать их частные интересы.

Возникшая в 1721 году на месте патриаршей православной церкви «духовная коллегиум» имела, как и всякое министерство, свой утвержденный штат, состоящий из президента, вице-президентов, советников и ассессоров. Президентом был назначен Стефан Яворский, все эти годы не без наивности надеявшийся за свою лояльность Петру получить сан патриарха. Словно в предупреждение всяких ненужных сравнений чинов новой коллегии с прежней церковной иерархией, в ее регламенте говорилось, что на президенте нет «великой и народ удивляющей славы, несть лишней светлости, несть высокого о нем мнения» и ему нечего «помышлять о себе высоко». Почти сразу после своего создания коллегия была переименована в святейший Синод, но внутренняя чиновничье-министерская суть нового ведомства от этого не изменилась.

Выразительнее всего ее подчеркивала присяга членов Синода. Как и все чиновники империи, они клялись в верности императору и членам династии, верноподданнически обязывались «благовременно объявлять о ущербе Его Величества интереса, вреде и убытке». Наконец они прямо, грубо попирая при этом православные каноны, признавали главой церковной власти (а Синод представлял собой именно коллегиальную церковную власть за неимением патриарха и с прекращением созыва поместных соборов) — императора. Каждый из архиереев, членов Синода, произносил слова присяги: «Исповедую же с клятвою крайнего судию Духовной сей Коллегии быти Самого Всероссийского Монарха, Государя нашего Всемилостивейшего».

О вреде того насилия, какое было совершено над русской церковью, его трагических последствиях писали и говорили многие исследователи и писатели. И.С. Аксаков с горьким сожалением признавал: «Церковь... представляется теперь у нас какой-то колossalной канцелярией, прилагающей с неизбежной, увы, канцелярской ложью порядки немецкого канцеляризма к спасению стада Христова... Убыла душа, подменен идеал...»{137}

Два века существования церкви в так называемой «синодальный период» были, несомненно, временем настоящего порабощения ее государственной властью. Но духовенство и, прежде всего высшая иерархия, не только не пытались сопротивляться этой тяжелой унизительной зависимости, но очень быстро научились использовать ее к своей выгоде. Смирившись раз и навсегда со своим положением, церковь превратилась в идеологическую опору режима, не только защищая крепостное право, но и помогая правительству в политике дерусификации страны. Так, искусствовед и археолог, председатель императорской археологической комиссии граф Л.Л. Бобринский обращал внимание на то, что именно реформированная церковь, усвоившая в своем убранстве, иконописи и музыке многое из западной культуры, «служила в 18 и 19 столетиях проводником в народное искусство иноземных стилей» наряду с помещичьей усадьбой{138}.

Петру вполне удалась его реформа — он добился, чего хотел. Упразднение патриаршества и создание неканоничного Синода, уничтожение соборной жизни разрушило церковь изнутри, а

вместе с тем и последние остатки традиционной русской православной государственности. Вновь созданная структура, получившая значение официальной церкви в Российской империи, в союзе с новым государством стала проводником и защитником новых секулярных ценностей и в то же время оплотом социальной несправедливости и духовного угнетения. \* \*

В условиях произошедшего разгрома религиозной и политической культуры русского народа единственной силой в стране, восставшей против нового порядка вещей, оказалось старообрядчество.

Об этом, без всякого сомнения, уникальном явлении в российской истории было немало написано, даны разные оценки его значению. И оценки и выводы по большей части откровенно или умеренно негативные, что объясняется, с одной стороны, четкими идеологическими установками государственной цензуры как в дореволюционный период, так и в последующее время, а кроме того — искренним непониманием светскими исследователями настоящих причин возникновения и развития староверия. Слишком далекие от культуры и духовных переживаний людей того времени, не имея никакой живой преемственности с ними, отечественные «нецерковные историки», но выражению С.А. Зеньковского, привыкли смотреть на предков как на предмет музеиного фонда, оказывались и оказываются совершенно неспособными вникнуть в основы их мировоззрения.

Даже положительные отзывы о старообрядчестве и вынужденное, на основе фактов, признание их формальной канонической правоты в давнем споре с официальной церковью, не лишены оттенка снисходительного превосходства, уверенности в том, что и сам спор, и принесенные ради отстаивания своей позиции немыслимые жертвы — не заслуживали этого, были лишними, едва ли не бессмысленными.

Вообще в рассуждениях на тему церковного раскола часто слишком большое значение уделяется именно «оценкам», преобладают субъективные взгляды, что значительно затемняет существование проблемы. На протяжении столетий исследователи и публицисты спорят о корнях раскола, о преобладании в основе его религиозной или социальной составляющей, превращая противников реформированной церкви то в маргиналов-сектантов, то прямо в революционеров, для которых религиозные «лозунги» служили только прикрытием для непримиримой социальной борьбы.

Между тем в момент своего появления староверие было только естественной защитной реакцией общества на агрессивное вторжение в церковную жизнь ничем не оправданных новшеств. Фактически староверы сделали то, что была обязана выполнить, но не выполнила церковная иерархия — воспрепятствовать нарушению православных традиций.

Старообрядчество возникло как движение строго охранительное и оборонительное, но подготовленное всем предыдущим развитием русской истории.

Только в новой реформированной России, с ее крепостным рабством и полицейским режимом, будет привита привычка слепого преклонения перед «начальством», в том числе и церковным, привычка униженного подчинения господской воле, сложится гадкая поговорка — «что ни поп, тот и батька». Допетровская Русь была государством, в котором жители обладали значительно более развитым чувством и гражданской и религиозной личной ответственности за происходящее. Прежде всего в людях московского царства было сильно осознание своего христианского долга защищать православную веру и духовные традиции предков от посягательств, невзирая на то, с чьей бы стороны они ни были произведены. Авторитет светской и церковной властей был уважаем только до тех пор, пока они действовали в каноническом поле. Нарушая его границы, они тем самым теряли в глазах православных христиан и права на свою учительную и руководящую роль в обществе, из пастырей превращались в волков.

Ни внешнее великолепие официальной церкви, ни могущество светского правительства не имели никакого значения и не могли заставить людей изменить древлеправославию, если они знали, что нарушены канонические основы веры. Протопоп Аввакум так выразил эту ортодоксально чистую и ясную позицию: «Не стены, но законы — церковь!»{139}

Церковная реформа середины XVII века, со строго православной точки зрения, была, конечно, незаконной. Ее необходимость утверждалась на заведомо лживом объявлении старых церковных обрядов еретическими, а сами реформаторы противопоставили себя и свое мнение всей истории православия в России.

Одним из краеугольных камней законности в православии является соборность. Самые незначительные изменения в канонах и обрядах требуют соборного решения и согласия всех христиан, выраженного непосредственно или через своих представителей, иначе не имеют никакой силы. Реформа же была делом частных лиц — царя Алексея и патриарха Никона, она состояла в насильственном принуждении к отказу от обрядов, которые русская церковь получила преемственно от древнегреческой церкви и с тех пор неизменно хранила на протяжении семи столетий. Теперь они все объявлялись вдруг ересью. Под угрозой пыток и казни предлагалось принять новые обряды, происхождение многих из которых не могли объяснить сами реформаторы, а происхождение некоторых имело заведомо иноверные неправославные корни, как, например, обливательное крещение и изменения в Символе Веры. Это насилие было задним числом оформлено «соборно», однако сами соборы 1666—1667 годов были неканоничными, в них участвовали и принимали решения иерархи, запрещенные в служении и даже отлученные от церкви, как самозваный «митрополит» Паисий Лигарид.

Учитывая все это, анафема двоеперстию и всей древлеправославной традиции, прозвучавшая тогда из уст церковных авантюристов, имела мало значения для тех русских православных людей, кто хотел унаследовать свою часть в Царстве Небесном, а не исполнять сумасбродную волю земного царя. Еретиками и отступниками от православия они с полным основанием могли считать самих реформаторов. Вся последующая история официальной церкви, все сильнее увязавшей в зависимости от светской власти, на глазах терявшей остатки самостоятельности, совершившей все новые отступления от православных канонов и закончившей созданием полулютеранского Синода и признанием императора своим «крайним судией», — только укрепляла староверов в правоте своей позиции.

Но настоящим автором реформы было правительство. Таким образом, защитники древлеправославия оказались во враждебных отношениях не только с официальной церковью, но в первую очередь с государственной властью.

На Русском Севере, где староверие получило широкое распространение, духовным центром был издавна Соловецкий монастырь. Древняя монашеская твердыня, а не далекая Москва, пользовалась учительным пастырским авторитетом, объединяла вокруг себя православных людей всего Поморья и даже еще шире — население земель вплоть до Вологды и Великого Новгорода.

Известия о начавшихся в Москве обрядовых новинах доходили до северных областей, порождая сначала недоумение, а потом возмущение. Сопротивление соловецких иноков «никоновой блудне» повсеместно встречало сочувствие и поддержку. Штурм и разрушение Соловецкого монастыря царскими войсками, жестокая расправа над монахами и кощунственное глумление над мертвыми глубоко потрясли все Поморье и скорбным эхом отзывались по всей России. Многим и вправду показалось, что наступили последние времена, если православный государь, подобно басурманскому владыке, ополчился па крупнейшую обитель страны и подверг ее поруганию. Это событие в умах сотен тысяч людей укрепило враждебное отношение к правительству и уверенность в том, что власть больше не православна. Дальнейшие действия власти, ее явное сближение с духовной и бытовой

культурой иноземцев, измена национальным традиционным началам и одновременно непримиримое преследование древлеправославия и его сторонников привели к тому, что для миллионов русских людей собственное правительство стало ненавистным врагом.

Эта враждебная позиция была тяжелым выбором для людей, привыкших чтить как своего государя, так и церковную власть. Только явное отпадение правительства от благочестия могло заставить признать его неправославным. Во многих старообрядческих сочинениях выражается такой взгляд: «Не имеем мы с того времени[39] над собою власти благочестивыя — ни духовныя, ни гражданския. Несть у нас ни царя благовернаго, ни патриарха святейшаго, но вси пребываем под рукою хульщиков благочестия и ругателей креста Христова».

В соответствии с православными канонами, ясно изложенными еще преподобным Иосифом Волоцким, духовные наставники староверия учили, что грешно повиноваться правителью, который служит не Богу, а своим страстям и похотениям: «Господином зовется наипаче тот, кто владеет собою и безместным страсти своим не работает».

Власть была виновна как в личном развращении, так и в нарушении основ православной веры, в оскорблении святоотеческого благочестия. Ей нельзя было повиноваться. С ней следовало или бороться, или бежать от нее.

Но правительство соединяло вместе с духовными отступлениями и церковными новшествами серьезные социальные и культурные перемены в обществе. Так религиозный конфликт неизбежно превратился в более широкое социальное и политическое противостояние.

Новое государство целиком, во всех проявлениях представляло из себя опасность, несло в себе угрозу и гражданской свободе и душевному спасению. В глазах крепко преданного христианской вере народа на месте православного царства было воздвигнуто царство антихристово. Его правители и слуги, пропахшие табачным зельем, упившиеся вином и погрязшие в разврате, со «скоблеными» бритыми лицами, переодетые в немецкое платье, покушались и на веру, и на жизнь, и на честь людей, сразу осознавших себя не гражданами, а пленниками в собственной стране.

Зашитники древлеправославия вступают в непримиримую борьбу с новым государством и «антихристовой властью» при полном сочувствии большинства народа. Непрерывные волнения и вооруженные мятежи сотрясают страну с самого начала преобразований, с каждым годом все усиливаясь — восстание Соловецкого монастыря, постоянные казацкие волнения на Дону, стрелецкие мятежи, бунт в Астрахани и других волжских городах, война Кондратия Булавина, непрекращающиеся крестьянские бунты и восстания в центральных областях на протяжении всего периода империи, война Емельяна Пугачева — все они объединяли в разное время десятки и сотни тысяч людей и происходили или под руководством, или при непосредственном участии староверов. Древлеправославие, по замечанию исследователя девятнадцатого столетия, становится «самой сильной оппозицией народного духа против нового порядка и устройства в России»{140}.

Народ, оказавшийся в рабстве на своей земле, только в древлеправославной среде видел активное сопротивление установившемуся порядку. Староверы в новой России остались единственными представителями и защитниками попранной веры и национальной традиции. В то время когда вероисповедание официальной церкви получает в народе характерное наименование «казенного православия», в староверческих скитах люди ищут и чистой веры, и душевного спасения, и защиты от насилия. Так «старая вера» получает одновременно непрекаемый духовный авторитет и становится «синонимом вольности и освобождения от общественного зла»{141}. Несмотря на внутренние разделения и некоторые различия в отношении к новому государству{40}, все староверы единодушно признавали существующую власть незаконной и неправославной. Однако важно, что эта позиция, выражавшаяся в том числе и в открытом противостоянии правительству, была основана в первую очередь на

религиозных мотивах. Это было духовное отторжение всего нового строя, категорическое неприятие его секулярной и антихристианской в конечном счете сущности.

Принципиально иным было отношение к церковному расколу государственной власти. Удивительно быстро усваивая со временем реформы утилитарный, исключительно светский взгляд на религиозные конфликты, правительство смотрело на противников официального вероисповедания прежде всего как на политических бунтарей. Подчинение церкви, как свидетельство благонадежности и лояльности, требовалось не из религиозных, а почти исключительно из полицейских соображений. Эта позиция проглядывает еще в поведении царя Алексея в его попытках уговорить боярыню Морозову только внешне, «для прилики людской», креститься троеперстно, разрешая при этом дома молиться так, как ей будет угодно. Своего завершения духовное равнодушие власти достигает в начале XIX века в создании единоверия. Это изобретение состояло в том, что староверам позволялось сохранить все внешние особенности древлеправославного богослужения, в том числе двоеперстие, при условии признания и подчинения официальной церкви. Были образованы единоверческие приходы и монастыри, попами и настоятелями в которые назначались священнослужители синодской церкви.

При Николае Первом в единоверие загоняли насильно обитателей разоренных и закрытых полицией скитов, заставляли принимать его купцов и промышленников-старообрядцев под угрозой разорения и ареста. Все же единоверие так никогда и не было признано староверами, поскольку принципиально противоречило самому смыслу и духу древлеправославия. Единоверие совершенно импонировало и выхолащивало духовную составляющую конфликта, примитивно сводя все к внешнему обряду, являясь, по существу, обрядоверием. Презираемое древлеправославными христианами и находящееся, несмотря на полный контроль над ним, на подозрении у светской и церковной власти, единоверие осталось памятником того, что никакой компромисс между новым государством и древлеправославием невозможен.

Не обрядовый спор, а духовная несовместимость с утвердившимся в стране строем лежала в основе староверия. И если время от времени в том или ином староверческом «согласии» ослабевала непримиримость к власти и новому порядку, от него немедленно откалывалась здоровая часть с проповедью еще более радикального неприятия государства. «Иного отступления уже не будет, — учили староверческие наставники, — везде бо бысть последнее время Русии, тако от часа сего на горшую происходит... И во время се ни царя, ни князя, ни святителя православного нет».

Доктрина староверов-безпоповцев[41] о «духовном антихристе», согласно которой весь мир, особенно светские и религиозные власти, уже оказались духовно порабощенными «князем тьмы», стала наиболее полным и последовательным выражением враждебного отношения к государству со стороны древлеправославных христиан.

Правительство всегда стремилось преодолеть «раскол» самыми крутыми и жестокими мерами — «это была в полном смысле истребительная политика», — отмечал С.П. Мельгунов{142}. Многие источники согласно свидетельствуют о карательных действиях власти: «Все темницы во градах и селах наполнишася христианами, везде цепи бряцали, везде вериги звенели, везде дыбы и хомуты Никонову учению служили, везде бичи и жезлы в крови исповеднической повседневно омывались... биением и ранами... лукавством и коварством к вере своей приводили и от такового насиженного лютого мучительства облияхуся все грады кровию»{143}.

Все перечисленное нисколько не является преувеличением. Еще патриарх Иоаким настоял на применении самых суровых мер к старообрядцам. С тех пор и законодательно и на практике преследования сторонников древлеправославия только усиливались. И правительство и церковные иерархи проявили в борьбе со староверием не только

непримиримость, но и по-настоящему изощренную жестокость, изобретая самые бесчеловечные способы казней и пыток. Старообрядцев сажали в тюрьмы и морили голодом, принуждая отказаться от своей веры, жгли на кострах «в срубе» и привязанными к столбу, запекали живьем на огне в железных котлах, вырывали языки, рубили руки и головы, выводили голыми на мороз и обливали водой, превращая в ледяные статуи...

Подобные расправы, которыми нередко руководили архиереи, позднее причисленные официальной церковью к лику святых, например, владыки Дмитрий Ростовский и Питирим Нижегородский, происходили на протяжении всей первой половины XVIII столетия, включая правление «человеколюбивой» государыни Елизаветы Петровны.

Староверы должны были платить двойной подушный оклад, носить специальную одежду по образцу старорусской, только с самыми архаичными элементами: это делалось и в насмешку, и также «чтоб они потому во всяких местах явны были». Петр лично предписал для мужчин — зипун со стоячим клееным козырем (воротником), женщинам «раскольничным и бородачевым женам» — опашни и рогатые головные уборы. Поверх одежды «раскольникам» повелевалось носить еще специальный медный знак с издевательской надписью «борода — лишняя тягота». Староверы не имели права свидетельствовать в суде, избираться на административные должности. Вообще еще петровский указ в отношении староверов, не записавшихся в двойной оклад, и тех, кто их укрывал, гласил с исчерпывающей ясностью: «Подлежат такой казни, как противники власти»{144}.

Но все усилия правительства были бесплодны. Число приверженцев «старой» веры в России увеличивалось с каждым годом. В самой Москве их было немало, причем по большей части среди зажиточных мещан и купцов, а по стране целые уезды были староверческими по составу населения. В «раскол» переходили крестьяне деревнями и селами, сильные позиции были у старообрядцев и в городах. По наблюдениям И.С. Аксакова, занимавшегося изучением старообрядчества в Ярославской губернии, едва ли не 3/4 народонаселения этой губернии были староверами, и только 1/4 — принадлежала к официальной Церкви. По другим российским областям положение было похожим. К концу XIX — началу XX века староверов разных согласий насчитывалось в стране не менее 15 миллионов человек.

По общему свидетельству авторов, как отечественных, так и иностранных, включая вынужденные признания государственных чиновников, староверы представляли лучшую и здоровую часть народа. Именно в старообрядчестве сохранился настоящий великорусский антропологический тип. Почти 100% грамотность, трезвость и трудолюбие, а также необычайная внутренняя сплоченность и взаимная поддержка обеспечивали большинству финансовый достаток и давали возможность достигать иногда значительного богатства. По замечанию князя П. Долгорукова, в то время как «православный» крестьянин тратил все заработанное на водку, старовер «трудился, торговал, накапливал, богател, приобретал влияние, подкупал всегда алчных чиновников»{145}.

Деньги были для староверов средством защиты от враждебного государства. Благодаря им налаживались связи, добывалась благосклонность и становых приставов, и столичных вельмож, отводилась угроза разорения от древлеправославных скитов. Богатые купцы-староверы выкупали у помещиков на волю целые деревни, обеспечивая крестьян заработком, давая людям новую свободную жизнь.

Староверие, проникнутое духом независимости, было несовместимо с крепостническим режимом. Везде, где усиливались его позиции, слабело крепостное право, и наоборот, успешное наступление «казенного православия» обеспечивало помещикам возможность неограниченной эксплуатации рабского крестьянского труда. Жандармам нередко приходилось отправлять начальству тревожные отчеты, вроде этого: «Замечено, что... вообще развит дух неповиновения в помещичьих крестьянах от влияния местных фабрикантов, которые, сделавшись купцами из тамошних же крестьян, способствуют многим

выкупаться из крепостного состояния»{146}.

Но староверие возникло и было всегда прежде всего духовным религиозным движением. Сохраняя в неприкосновенности устав древней православной церкви, оно предъявляло к своим последователям множество ограничительных требований, которые могут показаться чрезвычайно обременительными. Прежде всего это многочасовые церковные службы с долгими земными поклонами, это строгие посты, исключающие всякие послабления, допущенные в «официальной» церкви, наконец — это необходимость соблюдения благочестивого образа жизни постоянно, в каждый день и час, а не только во время похода в храм. Существовали обязательные к исполнению предосторожности в общении с «внешним» греховным миром, разнообразные бытовые ограничения и запреты.

Однако преданность вере в народе была так сильна, что подобные тяготы не отпугивали миллионы русских простолюдинов, поставленных государством и без того в крайне тяжелые условия. Вместе с переходом в древлеправославие они добровольно возлагали на себя все обязательства, предписанные канонами, и следовали им всю жизнь.

Одно только это служит доказательством чрезвычайно большого духовного потенциала русского народа, накопленного за семь веков христианства. Можно поражаться тому, насколько сильной и самобытной была культура народа, если она успешно сохранялась и оставалась живой на протяжении двух веков невероятных по жестокости преследований, направленных на ее полное истребление.

Остается только предполагать, каких успехов могло бы достичь русское государство, если бы его правительство не свернуло с пути традиционного духовного и социального развития, если бы нравственные и физические силы народа не были растрячены на сопротивление государственному насилию.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Произведенные значительные преобразования на рубеже XVII — первой половины XVIII века в официальной исторической науке принято представлять как несомненно прогрессивное явление в государственной жизни России. Однако духовные и социальные кризисы, пережитые страной на протяжении XVIII, XIX и вплоть до начала XX столетий, заставляли независимых исследователей снова и снова обращаться к временам реформ, все смелее соглашаясь видеть именно в них источник негативных тенденций в общественном развитии.

Авторами, не слишком соотносившими свои мнения с предписаниями идеологической цензуры, почти единодушно признавалось отрицательное значение для отечественной истории личности Петра Первого. К.С. Аксаков писал в 1855 году: «Государство в лице Петра посягнуло на народ, вторгнулось в его жизнь, в его быт, насильственно изменило его нравы, его обычай, самую его одежду...»{147}. Критика деятельности Петра звучала еще раньше — решительное осуждение этому императору вынесли и князь М. Щербатов, и Н. Карамзин.

Но в большинстве случаев взгляды самых яростных критиков не распространялись дальше петровской эпохи в поиске источника исторических бед России. Многими, наоборот, даже идеализировались предшественники Петра. И. Солоневич, посвятивший замечательно яркий очерк развенчанию личности и деяний первого российского императора, искренне считал его отца, царя Алексея Михайловича, правителем, который внес исключительно положительный вклад в развитие страны и, более того — «вытащил Россию из дыры»{148}. Недооценка

негативного значения перемен, произошедших в России еще в середине и в конце XVII века, служит препятствием для понимания настоящих причин всех последующих проблем развития ее государственности. В корне ошибочен поверхностный взгляд на события никоновской «справы», как на незначительное изменение некоторых внешних форм богослужения, не затрагивавшее духовных основ веры.

Русское православное царство в середине XVII столетия поменяло не просто церковный обряд — оно изменило духовный полюс своего развития.

Консервативный писатель XIX века Константин Леонтьев заметил, что «изменение внешних форм быта есть самый верный и могучий признак глубокого изменения в духе». Любой обряд — это символ, отображающий внутреннюю суть. Фактические перемены всегда выбирают себе определенную зримую символическую форму своего воплощения. Так случилось и с переменой старого церковного устава на новый.

Русь, переняв от греков в X веке древнее троеперстие вместе с христианством и сохранив неповрежденными усвоенные тогда правила и обряды, осознанно несла на себе и от света величия империи ромеев. Однако на русской почве эта преемственность приобрела по преимуществу значение духовного наследства. Теперь, нарушая прежний порядок и оскорбляя старый церковный чин в пользу нового и чуждого, правительство царя Алексея и патриарха Никона безжалостно ломало складывавшееся в России веками ощущение призванности к сохранению великой святыни православия, рушило в конечном счете чувство национальной духовной полноценности.

Идеал «пресветлого святорусского царства» царь и патриарх подменили своим стремлением физически воцариться на берегу Босфора. Цель эта была слишком грубой для созерцательного типа русской традиционной духовности и очевидно нелепой и неосуществимой с практической точки зрения.

По роковому стечению обстоятельств перемена церковного устава была усвоена православными Византии накануне гибели своего государства. Троеперстие и прочие нововведения стали спутниками упадка религиозного чувства и прежней высокой культуры. Так же и в России — принятие троеперстия сопровождалось ломкой многих духовных традиций, культурным и социальным кризисом.

Много критических слов произнесено в адрес церковных преобразований, но каждый раз, возвращаясь к тем событиям и видя их прямую взаимосвязь с дальнейшими трагическими событиями в жизни государства, нельзя удержаться от горького изумления. Реформа сильно подранила чувство национального достоинства народа, проложила дорогу для дальнейшего разрушения традиционных устоев русского православного мира, окончательно уничтоженных реформами XVIII века.

Объективное сравнение состояния русского общества до и после преобразований приводит к выводу о том, что так называемая эпоха «просвещения» стала в действительности временем упадка и варваризации. Деградации и уничтожению подверглись все традиционные общественные институты, в основу которых было положено чувство национального и религиозного единства. На их место были внедрены новые отношения, в социальной сфере представлявшие собой в буквальном смысле слова рабовладельческую систему, а в духовной — воинствующую секуляризацию, полное обмирщение сознания и культуры.

Дерусификация и дехристианизация России — вот в чем действительно состояли и чем обернулись для народа так называемые «великие» преобразования начала восемнадцатого столетия. Этот переворот-перерождение нации по своему отрицательному значению намного превосходит все остальные внутренние кризисы и революции.

Однако настояще значение и последствия этого трагического явления в истории России

долгое время оставались недооцененными. При этом усиленное заимствование и насаждение плодов чужой культуры привело к полному пренебрежению собственными национальными традициями, которым в XIX веке было вынесено категорическое определение «китайского застоя», и даже более того — «вредной старины», по резкому выражению С.М. Соловьева.

Как магическое заклинание повторяют поколение за поколением российские историки утверждение о необходимости и неизбежности произведенного переворота, что «все европейские страны должны были рано или поздно пройти ренессансную стадию развития. Наступил черед Руси»<sup>{149}</sup>, что «и для Москвы наступил срок ее выхода из-под купола средневекового теократического мировоззрения»!<sup>{150}</sup> Но так ли это в действительности?

Глубокое заблуждение заключено здесь в самом отнесении глубокой религиозности непременно как к чему-то проиденному, отсталому, «средневековому». Такой взгляд сформировался в период XVI—XVIII веков, в пору увлечения западного человечества новыми научными открытиями, способными и обязанными ниспровергнуть, как показалось тогда слишком увлекающимся и горячим натурам, все прежние духовные основы культуры.

Усвоившей этот взгляд европейски образованной русской интеллигенции, все далее уклонявшейся от народной старины, ее святыни всегда казались формальностью, пустым обрядом, как и вообще все, относящееся к религии. Лишь относительно недавно, наблюдая и горькие плоды этой несколько наивной увлеченности материализмом, стало очевидно, что пути цивилизационного развития могут быть разными, а при этом сам научный и технический прогресс может мирно уживаться с формами традиционного быта и духовной культуры, что вполне доказал опыт многих современных государств, в первую очередь исламских. В большинстве восточных стран вера в Бога, почитание предков и сохранение национальных традиций нисколько не мешает развивать современные технологии и науку, улучшать благосостояние граждан.

Без всякого сомнения, социальная модель старообрядческого мира, унаследовавшая и сохранившая в себе много черт дореформенной Руси с ее соборностью и строгой религиозностью, и при этом отличавшаяся высокой деловой активностью, хозяйственной предприимчивостью, представляла собой пример того, как могла бы развиваться Россия без неистовых преобразований Петра и крепостного права, сохраняя национальное своеобразие и духовную неповрежденность от чужих влияний.

Российская государственность в результате реформ оказалась лишена органичной преемственности с прошлым, свернула с пути естественного развития, что стало причиной возникновения социальных и духовных болезней. Настоящее содержание истории России XVIII—XIX веков представляет собой отчаянное сопротивление народа как социальному угнетению, так и духовному заражению, исходившим с высоты престола. В стране на протяжении столетий, не затихая ни на день, шла непримиримая борьба с властью за право сохранить свою религиозную независимость и самобытность, право свободно молиться и трудиться на своей земле.

## БИБЛИОГРАФИЯ

Архив князя Ф.Л. Куракина. Кн. 1. СПб., 1890.

Анисимов Е.В. Россия в середине XVIII века // В борьбе за власть: страницы политической

истории России XVIII века. М., 1988.

Бобринский А.Л. Народные русские деревянные изделия, предметы домашнего, хозяйственного и отчасти церковного обихода. М., 2011.

Богданов А. Мятежное православие. М., 2008.

Валишевский К. Царство женщин. М., 1989.

Веселовский С.Б. Исследования по истории класса служилых землевладельцев. М., 1969.

Демкова П.С. Сочинения протопопа Аввакума и публицистическая литература раннего старообрядчества. СПб., 1998.

Дживелегов А.К. Начало итальянского Возрождения. М., 1908.

Долгоруков П. Записки князя Петра Долгорукова. СПб., 2007.

Дружинин В.Г. Раскол на Дону. СПб., 1889.

Зеньковский С.А. Русское старообрядчество. М., 2009.

Зомбарт В. Буржуа. Этюды по истории духовного развития современного экономического человека. Евреи и хозяйственная жизнь. М., 2004,

История Востока в 6 т. Т. 3. М., 2000.

История Европы с древнейших времен до наших дней в 8-ми томах. Т. 4. М, 1994.

История русской литературы в 4 т. JL, 1980.

Каптерев П.Ф. О греко-латинских школах в Москве в XVII веке до открытия славяно-греко-латинской академии //Годичный акт в Московской Духовной академии 1 октября 1889 года. М., 1889.

Карташев А.В. История русской церкви в 2 т. М., 2000.

Ключевский В.О. Сочинения в 9 т. М., 1989.

Князьков С. Очерки из истории Петра Великого и его времени. М., 1990.

Крестьянское движение 1827—1869 гг. Вып. 1. М, 1931.

Кутузов Б.П. Церковная реформа XVII в. Как идеологическая диверсия и национальная катастрофа. Барнаул, 2008.

Лозинский С. История папства. М., 1986.

Маньков А.Г. Крепостное право и дворянство в проекте Уложения 1720—1725 гг. //Дворянство и крепостной строй в России XVI—XVII вв. М, 1975.

Материалы для истории раскола за первое время его существования. В 9 т. М, 1875-1895.

Мельгунов С.П. Как создалась в России государственная церковь. М., 1917.

Мельгунов С.П. Москва и старая вера. Очерк из истории религиозно-общественных движений на рубеже XVII—XVIII вв. М., 1917.

Мельгунов С.П. Старообрядцы и свобода совести. М., 1917.

Мельников Ф.Е. Краткая история древлеправославной старообрядческой церкви. Барнаул, 2006.

Миронов Е.Л. Социальная история России периода империи (XVIII— нач. XX в.) Т. 1. СПб, 2003.

Панченко А.М. О русской истории и культуре. СПб., 2000.

Паскаль П. Протопоп Аввакум и начало раскола. М, 2010.

Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. М., 1993.

Преподобный Иосиф Волоцкий «Просветитель». 2006.

Пругавин А.С. Раскол и сектантство в русской народной жизни. — М., 1905.

Рассел Б. История западной философии. М, 2008.

Рассказы о Романовых в записи П.И. Бартенева // Голос минувшего, 1918, № 7-9.

Седов П.В. Закат московского царства. Царский двор конца XVII века. СПб., 2008.

Семевский М.И. Царица Екатерина Алексеевна. Анна и Виллим Монс. 1692-1724. М, 1994.

Смирнов П.П. Посадские люди и их классовая борьба до середины XVII века. В 2 т. М, 1948.

Собрание постановлений по части раскола. Кн. 1. СПб., 1860.

Соловьев С.М. Сочинения в 18 книгах. М., 1988—2000.

Соловьев С.М. Учебная книга русской истории. М., 1859.

Солоневич ИЛ. Народная монархия. М., 1991.

Федоров В.А. Сборник документов по истории СССР 1-й иол. XIX в. М., 1974.

Филиппов И. История Выговской старообрядческой пустыни. СПб., 1862.

Чернов А.В. Вооруженные силы Русского государства в XV— XVII веках. М., 1954.

Чумичева О.В. Соловецкое восстание 1667—1676 гг. Новосибирск, 1998.

Шоню П. Цивилизация классической Европы. Екатеринбург, 2005.

Щапов А. Русский раскол старообрядства. Казань, 1859.

Эрланже Ф. Эпоха дворов и королей. Этикет и нравы в 1558— 1715 гг. Смоленск, 2005.

Якубов К. Россия и Швеция в первой половине XVII в. М., 1897.

## ИЛЛЮСТРАЦИИ

«О церковных гонениях горчайших паки при Антихристе». Миниатюра из 33-й главы

«Трехтолкового Апокалипсиса»

Вирсавия у фонтана. Художник П.-П. Рубенс

У окна. Художник К.Е. Маковский

Две ведьмы. Художник Х. Бальдунг

Великий постриг. Художник М.В. Нестеров

Троица (фрагмент). Художник Андрей Рублев

Христос Пантократор. Египет, монастырь Святой Екатерины, VI в.

Спас на Престоле. Византия, XIV в.

Боярыня Морозова. Художник В.И. Суриков

Патриарх Никон предлагает новые богослужебные книги. Художник А.Д. Кившенко

Черный собор. Восстание Соловецкого монастыря против новопечатных книг в 1666 году.  
Художник С.Д. Милорадович

Расправа над соловецкими иноками. Книжная миниатюра

Во время Раскола. Художник С.В. Иванов

Путешествие Аввакума по Сибири. Художник С.Д. Милорадович

Сожжение протопопа Аввакума. Художник П.Е. Мясоедов

Патриарх Никон в Новом Иерусалиме. Художник В.Г. Шварц

Вешний поезд царицы на богомолье. Художник В.Г. Шварц

Царское богомолье зимой. Художник С.В. Иванов

Великий государь, царь и самодержец всея Руси. Художник С.В. Иванов

Приезд царей Петра и Иоанна. Художник И.Е. Репин

Под венец. Художник К.Е. Маковский

Петр I накрывает заговорщиков в доме Цыклера 23 февраля 1697 года. Художник А.И. Шарлемань

Цирюльник стрижет бороду раскольнику. Лубок

Скоморохи. Художник А.М. Васнецов

Большой маскарад в 1722 году на улицах Москвы с участием Петра I и князя-cesarya И.Ф. Ромодановского. Художник В.И. Суриков

## Примечания

1

Кардиналу Ришелье разногласия с протестантами не помешали поддержать в Тридцатилетней войне кальвинистов Соединенных Провинций и лютеран Швеции против католических Испании и Австрии. Причем уже после того как все участники войны заключили мир, католические державы, Франция и Испания, воевали друг с другом еще больше 10 лет, до 1659 года. (

Здесь и далее — примечания автора. )

2

БАРОККО (ит. Barocco) — «причудливый, неправильный, дурной, испорченный» — под этим названием, происхождение которого остается спорным, объединяются художественные стили европейского искусства XVII-XVIII вв.

3

Общее название в России иноверческих храмов.

4

«Поставлен бысть... в патриархи Иоасаф архиепископ, по изволению царя Михаила Федоровича всея Руси и по благословению Филарета патриарха, понеже был дворовой сын боярской; во нравах же и житии добродетелен был, а ко дарю недерзновенен...». — Карташев А.В. История русской церкви. Т. 2. М., 2000. С. 153.

5

За этими высказываниями, кроме раздражения властью, возможно, стояла и осведомленность о невысоком происхождении супруги Михаила, царицы Евдокии, урожденной Стрешневой. Ее отец, Лукьян Стрешнев, незнатный провинциальный дворянин, был настолько беден, что будущей царице в детстве самой приходилось пасти гусей. Рассказывали, что, став царским тестем и разбогатев, Лукьян до конца жизни сохранял свою

старую крестьянскую одежду, напоминавшую ему о прежней жизни и о том, как сказочно она изменилась.

6

Для сравнения можно сказать, что годовое жалованье московского стрельца, например, равнялось всего нескольким рублям.

7

«Нетрудно себе представить то впечатление, которое произвел на Никона этот ловкий и блестящий патриарх-левантиец, умевший развернуть перед своими московскими слушателями проблемы и перспективы дерзкой, но грандиозной идеи всеправославной империи. Новый мир цивилизации Востока, мир политических интриг и политической борьбы, мир... не изолированный, как Москва, а связанный со всей средиземноморской цивилизацией... раскрывался Никону в рассказах Паисия». — Зеньковский С.А. Русское старообрядчество. М, 2009. С. 147.

8

В своем обращении к царю в 1649 году Паисий гворил: «Пресвятая Троица да утвердит Вас... восприятии превысочайший престол великого царя Константина, прадеда Вашего... Да будеши новый Моисей, да освободиши нас от плена...». — Карташев А.В. История русской церкви. М., 2000. С. 170.

9

Примером ошибочного освещения причин и хода никоновской реформы может служить следующий фрагмент из работы известного историка С.М. Соловьева: «По недостатку образованности, в 15 и 16 веках в русской церкви распространилось несколько мнений, которых не допускала восточная церковь». По утверждению Соловьева, только безграмотные справщики книг при патриархе Иосифе, предшественнике Никона, внесли в тексты упоминание о необходимости двоеперстного перстосложения. И именно эта ошибка, как утверждает историк, привела к тому, что «в несколько лет двоеперстие сделалось господствующим по всей России»! — См.: Соловьев С.М. Учебная книга русской истории. М, 1859. С. 300.

Заблуждение уважаемого историографа XIX столетия повторено в заявлении известного современного ученого: «За долгие столетия в церковном богослужении, в обрядах накопилось немало несуразностей и ошибок... Более того, даже крестное знамение с годами на Руси претерпело изменение — вместо крещения тремя перстами... на Руси стали

креститься двумя перстами, что вызывало удивление в остальном православном мире». — См.: Сахаров А.Л. История России с древнейших времен до наших дней. М., 2010. С. 271.

Ничем кроме как «несуразностью» подобное утверждение назвать нельзя. После серьезных работ Н.Ф. Каптерева, Е.Е. Голубинского, А.В. Карташева, С.А. Зеньковского и др., посвященных истории русского церковного обряда, доказывающих, в том числе, неоспоримую древность двоеперстия, вышеприведенное заявление свидетельствует о досадной неосведомленности историка, пишущего об одной из ключевых проблем отечественного прошлого.

10

См. например: Мельников Ф.Е. Краткая история древлеправославной (старообрядческой) церкви. Барнаул, 2006; Кутузов Б.П. Церковная реформа XVII века. Барнаул, 2008; Зеньковский С.А. Русское старообрядчество. М, 2009 и др.

11

Приведенные далее цитаты из беседы А. Суханова с греками взяты из книги: Белокуров С.А. Арсений Суханов. Т. 2. М, 1894.

12

Ф.Е. Мельников писал по этому поводу: «Даже никоновские священники... были в недоумении, кому же они здесь молятся — не дьяволу ли в самом деле? Поэтому уже в книге «Жезл», сооруженной собором 1666 г., было вставлено после слов «молимся тебе» обращение: «Господи». Но так как и после сего все же выходило, что Господом именуется дух лукавый, то «Жезл» добавил еще в скобках разъяснение: «(Сиречь Боже наш)... В последних, уже синодских изданиях этот текст переделан почти в точности по дониконовским книгам...». — Мельников Ф.Е. Краткая история древлеправославной (старообрядческой) церкви. Барнаул, 2006. С. 27.

13

Все решения Стоглавого собора были основаны на строгом следовании правилам вселенской церкви. Это подтверждается объективными исследованиями деятельности Стоглава. Так, представитель новообрядческой церкви, доктор богословия архимандрит Макарий (Веретенников) пишет: «Материалы Стоглава содержат ссылки на цитаты из канонических правил Вселенских и Поместных Соборов и святых Отец, из Священного Писания и богослужебных текстов, творений святителей Григория Богослова, Василия Великого, митрополита Ираклийского Никиты, преподобных Исаака Сирина, Симеона Дивногорца,

приводятся тексты постановлений императоров Константина и Мануила Комнина, равноапостольного князя Владимира, поучения Русских Митрополитов, святителей Петра, Киприана, Фотия, преподобного Иосифа Волоцкого и др. Поэтому соборные главы приобретают более нарративный, назидательный характер...» — Архимандрит Макарий (Веретенников). «Стоглавый собор 1551 года» //Альфа и Омега, № 1(8), 1996.

14

Не исключено, хотя и маловероятно, что Алексей Михайлович заранее знал о темных местах в биографии своих греческих помощников. Тогда единственным объяснением выбора именно этих людей в качестве обвинителей древнего русского церковного устава может служить то, что другие восточно-православные иерархи не соглашались на участие в царской затее. Позиция константинопольского патриарха Дионисия и иерусалимского патриарха Нектария, отказавшихся стать судьями московского собора 1666—1667 годов, может служить некоторым подтверждением этой версии. По в таком случае роль царя Алексея в разгроме древлеправославия на Руси оказывается еще более мрачной и циничной.

15

Диакон Фодор передаст, как во время уговоров принять никоновские нововведения, епископы признавались ему: «И мы, диаконе, знаем, яко старое благочестие церковное все право и свято и книги непорочны, да нам бы царя оправить, того ради мы за новыя книги стоим, утешая его... Царя не смеем прогневати». — Цит. по: Богданов А. Мятежное православие. М., 2008. С. 128.

16

Имеется в виду борьба с арианством в IV веке и спор о словах «омоусиос» (единосущный) и «омиусиос» (подобосущный), которые, несмотря на столь незначительную разницу в написании, содержали принципиально противоположный догматический смысл.

17

Вид церковного песнопения.

18

Следующий воскресный день, 30 января, приходился в тот год по церковному календарю на

«день Страшного суда» — напоминание грешникам о предстоящем воздаянии за свои дела.

19

Например, посланник ко двору герцога тосканского Лихачев постарался в своем рассказе не забыть ни одной детали из виденного в театральном представлении: «Объявили палаты, и быв палата вниз уйдет, и того было шесть перемен, да в тех же палатах объявилося море, колеблемо волнами, а в море рыбы, а на рыбах люди ездят, а вверху палаты небо, а на облаках сидят люди... Да спущался с неба на облаке сед человек в корете, да против его в другой корете прекрасная девица, а аргамачки (рысаки) под корстами как есть живы, ногами подрягивают... А в иной перемене объявилося человек с 50 в латах и почали саблями и шпагами рубитися и из пищалей стреляти... И многие предивные молодцы и девицы выходят из занавеса в золоте и танцуют; и многие диковинки делали». — Цитируется по: Ключевский В.О. Курс русской истории. Т. 3. М., 1988. С. 255.

20

В Англии с победой пуританской революции и свержением Стюартов были запрещены театральные представления, закрыты и сожжены театры, в том числе знаменитый шекспировский «Глобус».

21

Петр Первый знал, как и многие, о том, что Иван Мусин-Пушкин его единокровный брат. В одном из писем, отправляя заграницу сына Ивана Алексеевича, Платона, император пишет: «Посылаем мы к вам, для обучения политических дел, племянника нашего, Платона...». — Записки князя Петра Долгорукова. СПб., 2007. С. 203.

22

В «Повести о боярыне Морозовой» и известном сочинении протопопа Аввакума, духовного отца Феодосии Морозовой — «О трех исповедницах слово печальное».

23

«По истечении десяти дней все вместе решили позволить себе пить... По истечении двадцати дней Аввакуму показалось, что это неправильно: он перестал нить. Однако он заболел: он стал поливать себе грудь водой и натирать снегом; от этого он почувствовал

себя лучше. Начиная с четвертой субботы Епифаний и дьякон больше не выдержали: им позволили пить и есть но субботам и воскресеньям. Аввакум полоскал рот и горло квасом и иногда глотал несколько крошек хлеба. В четверг на пятой неделе он совершенно изнемог от слабости... Он, вздыхая, отмерил три ложки кваса и пять — воды, смешал их и проглотил. То же сделал он и в пятницу. В субботу он сделал просфору, отслужил обедню и причастился. В воскресенье он выпил квасу. Но на последней неделе он стал поститься уже полностью, лишь увлажняя рот, чтобы иметь возможность совершить службу...» — См.: Паскаль П. Протопоп Аввакум и начало раскола. М., 2010. С. 523.

24

Стрелецкие полки именовались по фамилии своего полковника.

25

Адам Олеарий так объясняет происхождение наименования: «Это место лежит на реке Яuze и получило название Кокуй по следующей причине. Так как жены немецких солдат, живших там, видя что-либо особенное на мимо идущих русских, говорили друг другу: "Kuck! Kucke hie!", т. е. "Смотри! Смотри здесь!", то русские переменили эти слова в постыдное слово: "х.й" (что обозначает мужской член) и кричали немцам, когда им приходилось идти в это место, в виде браны: "Немчин, мчись на х.й", т. е. "Немец, убирайся на..." и т. д.».

26

Т.е. Поволжье.

27

Карл Фридрих герцог Гольштейн-Готторпский, жил в России с 1721 по 1727 год. Женат на дочери Петра Первого, Анне.

28

Свихнуться — сбиться с правильного жизненного пути, с правильных позиций. — Словарь русского языка С.И. Ожегова.

29

Яков Носов — фактический руководитель астраханского восстания.

30

Девичья фамилия этой императрицы была Скавронская, хотя, по-видимому, она много раз выступала под разными наименованиями, в том числе и таким.

31

При дворе в качестве одной из версий происхождения Павла I бытовал рассказ о том, что мертворожденного ребенка Екатерины и Салтыкова в спешке подменили сыном какого-то прислужника чухонца. По свидетельству И. Долгорукова, ему лично передавали старики, служившие в гвардии при Екатерине Второй, что Павла «за глаза» так и называли «чухонцем». — См.: Долгоруков П. Записки князя П. Долгорукова. СПб., 2007. С. 171.

32

В.О. Ключевский писал об этом: «Кабальная зависимость чаще всего прекращалась по воле господина с его смертью: “отходя сего света вольного”, он не только прощал долги своих добрым слугам, но и “наделял” их на силе, прося душеприказчиков дать его “людцам, мужичкам и женочкам, почему пригоже дати, а не оскорбити”, чтобы люди, покидая господский двор, не заплакали, по прекрасному выражению некоторых завещательниц». — См.: Ключевский В.О. Происхождение крепостного права в России.

33

В законодательной практике Древней Руси употреблялись термины «холоп» и «роба», но никогда «раб» и «холопка».

34

Мария Ильинична Милославская.

35

Как отмечал В.О. Ключевский, Екатерина при перечислении прав дворянского сословия «не выделила крестьян из общего состава дворянского имущества, т.е. молчаливо признала их составной частью с\х помещичьего инвентаря». — Ключевский В.О. Указ. соч. Т. 5. С. 132.

36

Некоторое представление об этом может дать моя книга «Россия крепостная. История народного рабства». М., 2011. Там же содержится список литературы и источников, в которых можно найти много информации по теме.

37

Ранее приводились слова русских епископов на соборе 1666—1667 годов: «Глупы-де наши святые были, грамоты не умели, чего их слушать» и т.п.

38

Это ошибка. Во главе новгородской епархии стоял митрополит.

39

С 1666 года.

40

В старообрядчестве появляются два основных духовных движения, отличающихся друг от друга своим отношением к новому государству и окружающему обществу: поповцы и безпоповцы. Они единодушно не признавали законной и православной существующую власть, хотя и несколько по-разному смотрели на степень ее отпадения от благочестия, по-разному оценивали необратимость этой перемены.

41

В слове «беспоповцы» употреблено авторское написание.

## Ссылки

1

Лозинский С. История папства. — М., 1986. С. 287.

2

Там же. С. 61.

3

Шоню П. Цивилизация классической Европы. — Екатеринбург, 2005. С. 8.

4

Дживелегов А.К. Начало итальянского Возрождения. — М., 1908, С. 7.

5

Там же.

6

Там же. С. 84.

7

Рассел Б. История западной философии. — М., 2008. С. 608—609.

8

Эрланже Ф. Эпоха дворов и королей. Этикет и нравы в 1558—1715 гг. — Смоленск, 2005. С. 25.

9

Зомбарт В. Буржуа. Этюды по истории духовного развития современного экономического человека. Евреи и хозяйственная жизнь. — М., 2004. С. 169.

10

Преподобный Иосиф Волоцкий «Просветитель». 2006. С. 332.

11

Соловьев С.М. Сочинения в 18 книгах. — М., 1988-2000. Кн. 7. С. 190.

12

Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. — М., 1993. С. 230.

13

Там же. С. 230,248.

14

Зеньковский С. Русское старообрядчество. — М., 2009. С. 93.

15

Смирнов П.П. Посадские люди и их классовая борьба до середины XVII века. В 2 т. Т. 2. — М, 1948. С. 6.

16

Там же. С. 8.

17

Якубов К. Россия и Швеция в первой половине XVII в. — М, 1897. С. 437.

18

Ключевский В.О. Сочинения в 9 т. Т. 3. — М, 1989. С. 280.

19

Ключевский В.О. Указ. соч. Т. 2. С. 340.

20

Там же.

21

Там же. С. 341-342.

22

Ключевский В.О. Указ. соч. Т. 3. С. 138.

23

Чернов А.В. Вооруженные силы русского государства в XV—XVII веках. — М., 1954. С. 167.

24

Там же. С. 168.

25

Там же. С. 157-158.

26

Ключевский В.О. Указ. соч. Т. 5. С. 126-127.

27

Ключевский В.О. Указ. соч. Т. 3. С. 175.

28

Соловьев С.М. Указ. соч. Кн. 3. С. 167.

29

История Востока. Т. 3. — М., 2000. С. 78.

30

Зеньковский С.А. Указ. соч. С. 75.

31

Там же.

32

Там же. С. 169.

33

Там же. С. 179.

34

Мельников Ф.Е. Краткая история древлеправославной старообрядческой церкви. — Барнаул, 2006. С. 26.

35

Цитируется по изданию: Кутузов Б.П. Церковная реформа XVII в. Как идеологическая диверсия и национальная катастрофа. — Барнаул, 2008. С. 270- 271.

36

Там же. С. 41.

37

Там же. С. 43.

38

Там же. С. 282.

39

Там же. С. 43.

40

Карташев А.В. История русской церкви в 2 т. Т. 2. — М., 2000. С. 261.

41

Богданов А. Мятежное православие. — М., 2008. С. 105.

42

Зеньковский С.А. Указ. соч. С. 219.

43

Цитируется по изданию: Кутузов Б.П. Указ. соч. С. 211.

44

Цитируется по изданию: Карташев А.В. Указ. соч. С. 293.

45

Зеньковский С.А. Указ. соч. С. 229.

46

Демкова И. С. Сочинения протопопа Аввакума и публицистическая литература раннего старообрядчества. — СПб., 1998. С. 19.

47

Материалы для истории раскола за первое время его существования. Т. 5. — М., 1879. С. 78-79.

48

Там же. С. 285.

49

Там же. С. 303.

50

Там же. С. 297.

51

См.: Зеньковский С.А. Указ. соч. С. 191.

52

Материалы для истории Раскола. Т. 5. Ч. 2. — М., 1879. С. 301.

53

Паскаль II. Протопоп Аввакум и начало раскола. — М., 2010. С. 481.

54

Ключевский В.О. Указ. соч. Т. 3. С. 256.

55

Там же.

56

Седов П.В. Закат московского царства. Царский двор конца XVII века. — СПб., 2008. С. 215.

57

Там же.

58

Подробно см. об этом: Каптерев Н.Ф. О греко-латинских школах в Москве в XVII веке до открытия Славяно-греко-латинской академии // Годичный акт в Московской Духовной

академии 1 октября 1889 года. — М., 1889.

59

Паскаль П. Указ. соч. С. 448.

60

Материалы по истории раскола... Т. 5. Ч. 2. С. 149.

61

Там же. С. 154.

62

Седов И.В. Указ. соч. С. 113.

63

Там же.

64

Долгоруков П. Записки князя Петра Долгорукова. — СПб., 2007. С. 203.

65

Седов И.В. Указ. соч. С. 113.

66

Паскаль П. Указ. соч. С. 481.

67

История русской литературы в 4 т. Т. 1. — Л., 1980. С. 349.

68

Веселовский С.Б. Исследования по истории класса служилых землевладельцев. — М., 1969. С. 20.

69

Ключевский В.О. Указ. соч. Т. 3. С. 254.

70

Седов В.П. Указ. соч. С. 516.

71

Там же. С. 506.

72

Там же. С. 392.

73

Ключевский В.О. Указ. соч. Т. 3. С. 331.

74

Нругавии А.С. Раскол и сектантство в русской народной жизни. — М., 1905. С. 31.

75

Паскаль П. Указ. соч. С. 512,529.

76

Папченко А. О русской истории и культуре. — СПб., 2000. С. 46.

77

Паскаль И. Указ. соч. С. 401- 402.

78

Архив князя Ф.А. Куракина. Кн. 1. — СПб., 1890. С. 75.

79

Там же. С. 63.

80

Там же.

81

Там же. С. 64.

82

Там же. С. 76.

83

Ключевский В.О. Указ. соч. Т. 4, С. 19.

84

Там же. С. 43.

85

См, об этом: Чумичева О.В. Соловецкое восстание 1667—1676 гг. Новосибирск, 1998. С. 121.

86

Ключевский В.О. Указ. соч. Т. 4. С. 115.

87

Там же. С. 117.

88

Там же. С. 133.

89

Соловьев С.М. Указ. соч. Кн. 7. С. 561; кн. 8. С. 96.

90

Там же. Кн. 7. С. 564.

91

Ключевский В.О. Указ. соч. Т. 4. С. 212.

92

Семевский М.И. Царица Екатерина Алексеевна. Анна и Виллим Монс. 1692-1724. — М., 1994. С. 61.

93

Соловьев С.М. Указ. соч. Кн. 7. С. 560.

94

Семевский М.И. Указ. соч. С. 164.

95

Ключевский В.О. Указ. соч. Т. 4. С. 233.

96

Долгоруков П. Указ. соч. С. 93.

97

Ключевский В.О. Указ. соч. Т. 4. С. 233.

98

Семевский М.И. Указ. соч. С. 164.

99

Ключевский В.О. Указ. соч. Т. 4. С. 283,

100

Соловьев С.М. Учебная книга русской истории. — М., 1859. С. 439.

101

Анисимов Е.В. Россия в середине XVIII века // В борьбе за власть: страницы политической истории России XVIII века. — М., 1988. С. 223.

102

Долгоруков П. Указ. соч. С. 334—335.

103

Валишевский К. Царство женщин. М., 1989. С. 84.

104

Долгоруков П. Указ. Соч. С. 191.

105

Ключевский. В.О. Указ. соч. Т. 4. С. 36.

106

Архив князя Ф.Л. Куракина. С. 72.

107

Шутки и потехи Петра Первого // Русская старина, 1872. Т. 5. № 6. С. 877.

108

Там же. С. 870.

109

Долгоруков П. Указ. соч. С. 141, 231.

110

Соловьев С.М. Сочинения в 18 книгах. Кн. X. С. 533.

111

Долгоруков П. Указ. соч. С. 329.

112

Взято из: Рассказы о Романовых в записи П.И. Бартенева //Голос минувшего, 1918. № 7—9.

113

Валишевский К. Указ. соч. С. 30.

114

Долгоруков П. Указ. соч. С. 98.

115

Ключевский В.О. Указ. соч. Т. 5. С. 348.

116

Долгоруков П. Указ. соч. С. 330.

117

Ключевский В.О. Указ. соч. Т. 4. С. 217.

118

Там же. С. 218.

119

Ключевский В.О. Указ. соч. Т. 5. С. 121.

120

Ключевский В.О. Указ. соч. Т. 4. С. 295.

121

Соловьев С.М. Указ. соч. Кн. 10. С. 474.

122

Миронов Б.Л. Социальная история России периода империи (XVIII — нач. XX вв.) Т. 1. СПб., 2003. С. 413.

123

Ключевский В.О. Указ. соч. Т. 3. С. 175.

124

Ключевский В.О. Указ. соч. Т. 4. С. 93.

125

Ключевский В.О. Указ. соч. Т. 5. С. 119.

126

Маньков А.Г. Крепостное право и дворянство в проекте Уложения 1720—1725 гг. //Дворянство и крепостной строй в России XVI—XVIII вв. — М., 1975. С. 167.

127

Федоров В.А. Сборник документов по истории СССР 1-й пол. XIX в. — М., 1974. С. 235-236.

128

Преподобный Иосиф Волоцкий. Указ. соч. С. 196—197.

129

Ключевский В.О. Указ. соч. Т. 3. С. 291.

130

Князьков С. Очерки из истории Петра Великого и его времени. — М, 1990. С. 457-458.

131

Миронов Б.Л. Указ. соч. Т.1. С. 102.

132

Долгоруков П. Указ. соч. С. 311.

133

Князьков С. Указ. соч. С. 448.

134

Долгоруков П. Указ. соч. С. 198.

135

Князьков С. Указ. соч. С. 445.

136

Мельгунов С.И. Как создалась в России государственная церковь. — М., 1917. С. 14.

137

Карташев А.В. Указ. соч. Т. 2. С. 486.

138

Там же. С. 529.

139

Бобринский А.А. Народные русские деревянные изделия, предметы домашнего, хозяйственного и отчасти церковного обихода. — М., 2011. С. 204.

140

Материалы для истории раскола за первое время его существования. Т. 8. Ч. 5. 1887. С. 101.

141

Щапов А. Русский раскол старообрядства. — Казань, 1859. С. 468.

142

Мельгунов С.И. Москва и старая вера. Очерк из истории религиозно-общественных движений на рубеже XVII—XVIII вв. — М., 1917. С. 4.

143

Мельгунов С.И. Старообрядцы и свобода совести. — М., 1917. С. 20.

144

Филиппов И. История Выговской старообрядческой пустыни. — СПб. 1862. С. 25.

145

Собрание постановлений но части раскола. Кн. 1. — СПб. 1860. С. 28.

146

Долгоруков П. Указ. соч. С. 323.

147

Крестьянское движение 1827-1869. Вып. 1. — М., 1931. С. 111.

148

Федоров В.А. Указ. соч. С. 235-236.

149

Солоневич И.Л. Народная монархия. — М., 1991. С. 422.

150

Патенко А.М. О русской истории и культуре. — СПб., 2000. С. 59.